БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ

ОГОНЬ – ЕГО РОДИТЕЛЬ



ОГОНЬ — ЕГО РОДИТЕЛЬ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ

ОГОНЬ — ЕГО РОДИТЕЛЬ



Москва • 1976

8Р1
Л33

Лебедев Е. Н.

Л33 Огонь — его родитель. М., «Современник», 1976.

216 с. (Библиотека «Любителям Российской словесности»).

Это книга о М. В. Ломоносове — великом русском ученом и поэте.

Жизнь и деятельность его рассмотрены на фоне интересвейшей исторической эпохи, в тесном соотнесении с творчеством других видных представителей русской литературы XVIII века — Тредиаковского, Сумарокова и др., в сопоставлении с западноевропейской традицией. Книга Е. Лебедева совмещает яркий рассказ о жизни Михайлы Ломоносова и глубокий анализ его поэтического наследия. Книга рассчитана на широкого читателя.

Л $\frac{70202-257}{М106(03)-76}$ 224—76 8Р1

Моей матери —
Дарье Афанасьевне Лебедевой —
посвящаю

ОТ АВТОРА

> Добродетельный человек — не тот, кто жертвует своими привычками и самыми сильными страстями ради общего интереса,— такой человек невозможен, а тот, чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда принужден быть добродетельным.
>
> *Гельвеций*

Ломоносов принадлежит к числу универсальных деятелей мировой культуры, которые в своем творчестве (всегда национальном по существу) воплощали непреходящую потребность человеческого рода постичь и освоить мир во всем его многообразии, выражали извечное стремление человека к социальной и нравственной свободе, словом и делом своим утверждали необходимость деятельной любви к людям.

Ломоносов и сейчас пробуждает живущее в каждом из нас это стремление к «полному чувству Бытия», как сказал Тютчев, не дает ему заглохнуть под ворохом сиюминутных наших интересов, которые чаще всего бывают весьма специальны, весьма односторонни и которым мы иногда, по наивности или слабости своей, пытаемся придать черты всеобщности, но редко при этом испытываем удовлетворение. Ломоносов тревожит и наше нравственное чувство, ибо всей жизнью и творчеством подтверждает принципиальную невозможность для нас удовлетвориться только частью истины, только одной какой-нибудь ее стороною.

Судьба творческого наследия Ломоносова сложилась весьма прихотливо и поучительно.

XVIII век видел в нем по преимуществу поэта и ритора. Оды его гремели на всю Россию, по «Риторике» и «Грамматике» его училось не одно поколение русских людей. Между тем о характере и истинной ценности его научных трудов «столетье безумно и мудро» (как называл XVIII век Радищев) имело довольно смутное представление. Пожа-

луй, лишь великий Л. Эйлер по достоинству оценил тогда эту сторону деятельности Ломоносова. Но даже он признавал, что подчас ему было затруднительно вынести компетентное суждение по иным проблемам, которые затрагивались Ломоносовым: настолько смелым и оригинальным был его подход, настолько опережал он в своих гениальных прозрениях уровень научных представлений эпохи.

Не зная всего Ломоносова, современники и в поэзии-то его понимали не все. Доступным оказалось знаменитое ломоносовское «парение», «великолепие».

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен.

Так писал о Ломоносове в 1748 году Сумароков, поначалу искренне восторгавшийся его творчеством. Этой строке суждено было роковым образом повлиять на отношение читающей публики к Ломоносову. Отныне заходила ли речь о Ломоносове, сейчас всплывал на поверхность второй полустих сумароковской формулы.

Слово было найдено. Очень удобное слово. Как противники, так и сторонники поэта приняли это слово безоговорочно и даже с энтузиазмом.

Для его литературных врагов «высокое парение», «громкость», «восторг»,— эти характерные (но не единственные!) приметы ломоносовской музы, взятые в отчужденной форме,— стали знаком поэтической бессмыслицы, ходульности выражения и вообще дурного вкуса. Не давая себе труда постичь поэзию Ломоносова в целом, не пожелав найти в ней самой скрытой пружины пресловутого «парения», эти люди (во главе которых в 1750-е годы стоял не кто иной, как недавний апологет «российского Пиндара» — Сумароков), сами того не подозревая, воевали не с Ломоносовым, а со своим ограниченным представлением о Ломоносове, с призраком Ломоносова, с карикатурой на него.

Что же касается последователей, то и они не смогли проникнуть до самых последних глубин художественного миропонимания Ломоносова, постичь в целом все величие его жизненного и литературного подвига. Они так же, как и противники поэта, не умели преодолеть в своем подходе к нему *односторонности*.

Выражаясь фигурально, для того чтобы гениальная партитура ломоносовской поэзии зазвучала в полной мере, во всем ее полифоническом богатстве, потребен был боль-

шой состав симфонического оркестра, а современники, «исполняя» Ломоносова, упорно предпочитали только медь и литавры. Одним *такой* Ломоносов не нравился, другие *и от такого* Ломоносова были в восторге. Одни его зло пародировали (ср. «Вздорные оды» Сумарокова), другие ему истово подражали (ср. оды В. Петрова). И мало кому приходило в голову, что медь и литавры (то есть «великолепие», «пышность», «громкость») — это отнюдь не весь Ломоносов, что «российский-то Пиндар», может быть, в конечном счете есть не что иное, как неудачная литературная легенда.

Правильное понимание Ломоносова возможно лишь с учетом всех его многообразных устремлений. «Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...» — эти пушкинские слова ориентируют на рассмотрение ломоносовского наследия в его совокупности. В дореволюционной литературе о Ломоносове примером широкого охвата его деятельности могут служить разыскания, предпринятые профессором Б. Н. Меншуткиным и легшие в основу его книги («Михайло Васильевич Ломоносов. Жизнеописание»), написанной к 200-летнему юбилею Ломоносова в 1911 году.

В советское время пушкинскую традицию в подходе к Ломоносову с блеском развил выдающийся ученый, академик С. И. Вавилов. Обозревая историю восприятия Ломоносова русской публикой и отмечая, что вплоть до пушкинского времени он был известен прежде всего как литератор, а начиная «со второй половины прошлого века до наших дней поэтическое наследие Ломоносова отодвигается на задний план, и внимание почти целиком сосредоточено на Ломоносове-естествоиспытателе», С. И. Вавилов писал (1940): «Обе крайности, несомненно, ошибочны. Великий русский энциклопедист был в действительности очень цельной и монолитной натурой. Не следует забывать, что поэзия Ломоносова пронизана естественнонаучными мотивами, мыслями и догадками... Поэтому часто встречающееся сопоставление Ломоносова с Леонардо да Винчи и Гете правильно и оправдывается не механическим многообразием видов культурной работы Ломоносова, а глубоким слиянием в одной личности художественно-исторических и научных интересов и задатков»[1].

Таким образом, исследователь творчества Ломоносова в идеале должен быть либо гениальным представителем гуманитарной сферы,— подобно Пушкину, постигшим глубины человекознания, либо выдающимся ученым-естествоиспытателем,— подобно С. И. Вавилову, обладающим высокой общей культурой. Но и этого может оказаться недостаточно, если упустить из виду главнейший отличительный признак ломоносовской индивидуальности — то, что С. И. Вавиловым было определено как *«глубокое понимание неразрывной связи всех видов человеческой деятельности и культуры»*.

По сути дела, может быть, только сейчас начинают появляться реальные предпосылки для всестороннего осмысления ломоносовской деятельности.

В пользу этого заключения говорит и характер современного культурного развития, в ходе которого все большим и большим числом людей осознается насущная необходимость целостного подхода как к наследию прошлого, так и к духовным процессам настоящего,— то есть все очевиднее становится «неразрывная связь всех видов человеческой деятельности и культуры».

Все многообразие творческих и человеческих устремлений Ломоносова наиболее полно отразилось именно в его поэзии. С этой точки зрения никакая другая сфера ломоносовской деятельности не может соперничать с его литературным наследием. «Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь»,— писал Достоевский («Дневник писателя» за 1877 год).

В чем же была принципиальная новизна ломоносовской поэзии, о чем было его «новое слово»?

На эту тему имеется одно глубоко верное суждение, высказанное еще в середине прошлого столетия: «Ломоносов был автор, лицо индивидуальное в поэзии, первый, восставший как лицо из мира национальных песен, в общем национальном характере поглощавших индивидуума; он был освободившийся индивидуум в поэтическом мире, с него началась новая полная сфера поэзии, собственно так называемая литература»[2].

Вот почему книга рассказывает прежде всего о личности Ломоносова — поэта, ученого, государственного деятеля, патриота.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мальчик в лаптях и нагольном тулупе думает думу...

Ф. Глинка

Русский Север рубежа XVII—XVIII веков — край удивительный во многих отношениях. С давних времен выходцы из вольного Новгорода, люди смелые и предприимчивые, стали заселять побережье Белого моря. Рубили избы, строили лодьи, ловили рыбу, били морского зверя, охотились, сеяли хлеб, писали иконы, резали по кости...

Жители Поморья не знали крепостного права и свободно пользовались своими землями (могли, к примеру, заложить или продать их). Мирская сходка — верховный орган крестьянской общины. Здесь выбирались представители деревенской исполнительной власти (старосты, сотские) и решались все вопросы внутриобщинного землепользования. Здесь определялось, сколько с кого следует «на круг» для ответа общины перед казной (знаменитая круговая порука) и т. д.

Природная смекалка и трудолюбие помогли поморам приспособиться к суровым условиям северного края. Без пилы и гвоздей поморские кудесники при помощи одного только топора ставили свои крепкие избы, обшивая их снаружи досками (опять-таки тесанными топором) или березовой корой, прокладывая стены и двери мохом. Все было умело продумано и рассчитано: окошки делались маленькими, зазоров между бревнами — никаких. Летом в таком доме прохладно, а зимой самый лютый мороз не достанет. Тем же манером строились и храмы: высокие, легкие, сказочно красивые и — прочные.

Главным промыслом поморов была ловля трески и палтуса. Рыбу ловили не сетями, а «ярусом» — огромной длины веревкой, к которой на расстоянии трех аршин друг от друга привязывались короткие снасти с большими крючками. Забросить «ярус» в море было делом нелегким. Обычно этим занимался самый опытный человек на судне — кормщик,— который одновременно правил парус и на полном ходу опускал за корму гигантскую веревочную гирлянду, следя за тем, чтобы крючки не перепутались. Через некоторое время рыбаки возвращались на то место, где был заброшен «ярус», собирать улов («трясти треску»). Бывало, возвращались домой ни с чем. Но в удачные дни с одного «яруса» набиралось трески и палтуса на две, а то и три полных лодки.

Охота на тюленей и моржей также была одним из основных поморских промыслов. Выследив тюленье стадо, поморы бросались на неуклюжих зверей, стараясь произвести как можно больше шума, чтобы напугать их, вызвать растерянность. Гарпун, острога, просто дубинка — все шло в ход. Били много и яростно. Свежевали туши на месте. Шкуры тюленей (снаружи — мех, с другой стороны — толстый слой сала) волокли по льду и снегу в лодки. Потом возвращались по кровавому следу и вновь били, сдирали, оттаскивали... Уцелевшие звери старались собраться в одну кучу, чтобы теплом и тяжестью своих тел продавить льдину и уйти от преследователей. Если им это удавалось, то опасность угрожала уже самим охотникам.

Моржи — гораздо крупнее, мощнее и опаснее тюленей. У них отличный слух и чуткое обоняние. При хорошем ветре они чувствуют приближение судна за несколько верст. Но даже если зверобоям удавалось перехитрить клыкастых великанов и подойти к ним вплотную, самое трудное было еще впереди. Моржи боролись за жизнь с бешеным ожесточением, переворачивая поморские лодьи, настигая своими страшными клыками упавших в воду людей. Охота на моржей у народов северной Европы издавна считалась самым уважаемым и благородным промыслом, требовавшим особенной отваги и сноровки. Встречаясь с русскими артельщиками у берегов Шпицбергена и наблюдая их в сражениях с моржами, иностранные моряки (шведы, норвежцы, шотландцы) приходили в «содрогательное удивление» от их проворства и смелости.

В течение нескольких веков за заслоном дремучих лесов и болот жизнь поморов развивалась самобытно. Север был избавлен от княжеских усобиц (крупное землевладение здесь сосредоточивалось в руках монастырей), от татаро-монгольского порабощения.

Однако географическая удаленность Поморья от центра не привела к его изоляции. Здесь укрывались от бояр и помещиков беглые крестьяне, в большинстве своем люди инициативные, с хозяйственной жилкой, не хотевшие мириться с усилением крепостничества. Сюда в период религиозных брожений стекались сторонники старой веры.

Глубокая, коренная связь поморов с общерусской культурой особенно ощущается при обращении к северному фольклору. Поморские «старины» (так называли здесь былины) рассказывали о тех же героях, что и в центральной России: о Владимире Киевском, Илье Муромце, Добрыне... Былинные мотивы использовались архангельскими и холмогорскими мастерами при изготовлении украшений из моржовой кости. Вместе с тем поморы по-своему перерабатывали и дополняли классические былинные сюжеты, наделяя образы богатырей качествами, понятными и близкими именно жителям Севера:

Ишше мастёр был Добрынюшка нырком ходить,
Он нырком мастёр ходить да по-сёмужьи.

Большое значение в культурной жизни Севера имели монастыри, которые привлекали к себе местных образованных людей и молодежь, жаждавшую познаний. Многие служители православной церкви отличались склонностью к научно-техническим изысканиям. Так, например, живший в XVI веке игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев оставил после себя архив с подробными описаниями своих инженерных изобретений. Под его руководством в монастыре было широко налажено кирпичное дело, построены мельницы, к которым посредством многочисленных рвов подводилась вода из 52 озер. Филипп придумал различные приспособления, облегчавшие труд монахов: механическую сушилку, веялку, устройство, позволявшее использовать лошадей при разминке огнеупорной глины. Он построил трубопровод в монастырской пивоварне. Если до Филиппа квас варила «вся братия и слуги многие», то при нем этим делом занимались только один «старец да пять

человек», так как благодаря хорошо разветвленному трубопроводу квас сам сливался из чанов, сам шел по большой трубе из пивоварни в погреб монастыря и там растекался по бочкам...

При Антониево-Сийском монастыре (под Холмогорами) существовала школа иконной живописи, из которой вышло много интересных художников. Там же в 1670 году была создана типография. Местные крестьяне знакомились с печатной книгой, а некоторые даже собирали небольшие библиотеки.

Начиная с середины XVI века Беломорский край стал опорным пунктом внешней торговли России. В Архангельск приходили купеческие корабли из Англии и других европейских стран. В свою очередь, и поморы, отправляясь на промысел, уходили от устья Северной Двины через Белое море далеко в океан — на Шпицберген, к другим островам. Бывали они в Норвегии, и в Швеции, и в Англии. В зимнее время поморы (то с заграничным товаром, то со своим уловом рыбы или моржовой костью, а иногда с тем и другим вместе) шли обозами в Москву.

...Неоднократные приезды Петра на беломорское побережье дали новый толчок хозяйственному развитию Севера. Вавчужская верфь (построена в 1700 году) стала базой русского кораблестроения. Здесь строились рыболовные, торговые и военные суда. Хозяева верфи братья Баженины принимали заказы от Петра и не только от русских, но даже от английских и голландских купцов. Поставленное на широкую ногу кораблестроение требовало соответственного развития сопутствующих отраслей: кузнечного дела, металлургии, прядильного и ткацкого ремесла для производства парусины и т. д.

Увеличивалась потребность в хорошо подготовленных специалистах. Многие поморы отправлялись на выучку в Москву и за границу. В начале XVIII века на верфях, в портовых учреждениях, на мануфактурах Архангельска и Холмогор помимо просто грамотных людей (то есть умевших читать и писать) можно было встретить выпускников Навигацкой школы, Славяно-греко-латинской академии и западноевропейских учебных заведений.

Таким был русский Север — с его суровой природой, с его самобытной историей, с его высокой культурой и активной хозяйственной жизнью, с его сильными, талантливыми и свободными людьми.

...В устье Северной Двины, на одном из многочисленных островов дельты — Курострове — вблизи города Холмогоры расположилась деревня Мишанинская.

Мишанинцы сеяли на своих, прямо скажем, тощих землях лен и коноплю, а из злаков — рожь и ячмень. Здешний климат был настолько суров, что даже в самые урожайные годы им приходилось прикупать хлеб на стороне, чтобы хватило его на весь год. Лучше обстояло дело с пастбищами и сенокосом. Поэтому почти в каждой семье ежегодно откармливали на продажу от двух до пяти быков и несколько телят. Деньги на покупку хлеба доставляли мишанинцам и такие промыслы, как производство древесного угля, золы, извести, смолокурение (один крестьянин обычно гнал по десять восьмипудовых бочек смолы в год).

Среди мишанинских крестьян было много мастеровых: медников и кузнецов, портных и сапожников, бочаров и кожевников, гончаров и колесников. Были здесь и свои каменотесы, шлифовавшие камень для продажи в Архангельске и Великом Устюге. Некоторые из них ходили на заработки в Петербург и Москву. Женщины тоже промышляли: пряли и белили льняную нить для плетения кружев, ткали на продажу тонкий холст.

Путешественник, посетивший эти места в 1791 году, писал: «Положение окрестности сей деревни обширно и величественно; возвышенные его окружности представляют пахотные нивы, приятные и пространные, стадами и табунами всегда испещренные луга, а низкие вокруг пологи имеют вид песчаных степей, которые ежегодно от наводнений двинских и куропальских увеличиваются; северо-западную сторону его облегает вдали большая еловая роща, которая, украшая селение, защищает его отчасти и свирепства северных ветров. Природа и труды человеческие потщилися сие место обложить изящнейшим горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и сенокосы, прерывающиеся несколькими лесами и многочисленными холмами, которым наибольшую придают живность близлежащий город, великое множество погостов и многочисленные разных родов селения. Трудолюбие многолюдных поселян, великое плавание судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам, звон и шум городской и селений, к тому же изобилие рыб, птиц и всяких для жизни потребностей должны составлять наипрелестнейшую картину,

когда натура облачается в радостную одежду приятной весны»[1].

Здесь-то в семье черносошного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова, женатого на Елене Ивановне Сивковой, дочери дьякона села Николаевские Матигоры, в 1711 году родился один из величайших людей России.

Отец Ломоносова был человеком предприимчивым и зажиточным. Он владел пахотной землей, рыбными промыслами на Мурманском побережье, имел несколько судов. Вот что говорили о нем односельчане: «Всегда имел в том рыбном промыслу счастие, а собою был простосовестен и к сиротам податлив, а с соседьми обходителен...»[2] Интересные подробности о Василии Дорофеевиче сообщены в академической биографии Ломоносова 1784 года: «Он первой из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине, под своим селением, галиот и прозвал его Чайкою, ходил на нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенные и частных людей, от города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень»[3].

Однако все «свое довольство по тамошнему состоянию», как писал много лет спустя Ломоносов, отец его «кровавым потом нажил», да и нажил-то не сразу. Подтверждением тому может служить довольно поздняя женитьба Василия Дорофеевича. Только в тридцать с лишним лет он счел себя вправе обзавестись собственной семьей. Обычно поморы женились несколькими годами раньше.

Михайло был первенцем в семье. Как и все крестьянские дети, он с самого детства помогал родителям: пас домашний скот, трудился в огороде, в поле, на постройках. Поморы воспитывали детей в строгости. Почтение к старшим и труд — таковы были главные основы народной педагогики. Малейшее нарушение тишины и порядка в доме пресекалось немедленно и сурово. Обедали молча. Девочки при этом занимали место на скамье в простенках между окон и не должны были выглядывать на улицу. Если в доме случались гости и хозяйка подносила им вино, дети должны были встать и поклониться гостям в пояс. Земными поклонами благодарили родителей за новую одежду или обувку.

Строгость и порядок во всем, беспрекословное подчинение старшим служили залогом благосостояния семьи, продолжения рода, прочности нравственных устоев — подобно

тому, как в рыбачьей или зверобойной артели четкое распределение обязанностей, их точное соблюдение обеспечивало успешный промысел. Дом помора — это лодья на суше. Семья его — артель, а сам он — кормщик. Непослушание, отклонение от установленного порядка грозит опасностью. На суше, как и на море, все зависит от воли, смекалки и опыта старшего.

Когда сыну исполнилось десять лет, Василий Дорофеевич стал брать его с собою в море. Поморы были отличными мореходами. Исследователями установлено, что Василий Дорофеевич Ломоносов не раз ходил на промысел китов к Шпицбергену.

Михайле было чему поучиться у своего отца и его помощников и было на что посмотреть в дальних морских походах. Впечатления отрочества оставили заметный след в творчестве Ломоносова. В 1761 году в замечаниях по поводу «Истории России при Петре Великом» Вольтера (а именно той ее части, где говорится о народностях русского Севера) Ломоносов, между прочим, писал: «Отличаются лопари одною только скудостью возраста и слабостью силы — затем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною почти рыбою. Я будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей. Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают, однако мне их видеть нагих случалось и белизне их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят — свою главную и повседневную пищу». Посылая в Академию свой студенческий «репорт» о добыче соли в Саксонии, он сравнивал немецкую постановку этого дела с поморской технологией солеварения, прекрасно им изученной при закупках соли для отцовских промыслов. Не последнюю роль сыграли отроческие воспоминания при разработке Ломоносовым гипотез о физической природе северных сияний, о происхождении айсбергов, о возможности северного морского пути из Европы на Дальний Восток и в Индию.

Образы северной природы, запечатленные в юном сознании, нашли отражение в поэзии Ломоносова. Таково, например, описание полярного дня в поэме «Петр Великий», приводившее в восторг поэта К. Н. Батюшкова:

Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов

И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верьхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Дивное устройство природы волновало юную душу Ломоносова. Растолковать Михайле, как надо ставить парус, объяснить устройство компаса и научить им пользоваться, рассказать о повадках рыбы и морского зверя, о капризах северной погоды и проч.— все это могли сделать отец и другие бывалые поморы. Но что стоит за всем этим? что поднимает ветер? какая непостижимая и чудная сила устроила так, что стрелка «матки» всегда глядит на север, а рыба со свирепым постоянством идет бить икру против течения рек? отчего бывают странные небесные сияния? откуда — смена дня и ночи, приливов и отливов? откуда эта красота и стройность? откуда, наконец, и сама эта непобедимая потребность души все постичь, всему дать название, во всем найти смысл?..

В зимние месяцы, когда отцовские суда стояли на приколе и работы было меньше, Ломоносов учился читать и писать. Первыми учителями его были сосед Иван Шубной и дьячок приходской церкви С. Н. Сабельников. Двенадцати лет Ломоносов, по свидетельству его односельчан, уже «охоч был читать в церкви псалмы и каноны и... жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, а при том имел у себя глубокую память. Когда какое житие или слово прочитает, то после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращеннее на словах обстоятельно»[4]. Тогда же, помимо церковнославянского текста псалмов, Ломоносов познакомился с их поэтическим переложением на русский язык по книге Симеона Полоцкого «Псалтырь рифмотворная», во вступлении к которой автор писал:

Не слушай буих и ненаказанных,
В тьме невежества злобою связанных,
Но буди правый писаний читатель,
Не слов ловитель, но ума искатель.

Вскоре в жизни Ломоносова произошло событие, которому сам он придавал впоследствии исключительное значение: в доме соседа Христофора Дудина он увидел первые «мирские» книги — «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого. «Грамматика славенская» учила «благо глаголати и писати» и «метром или мерою количества стихи слагати» — то есть сразу знако-

мила с основами грамоты, красноречия и стихосложения. Книга Л. Магницкого (изданная в Москве в 1703 году «повелением благочестивейшего государя нашего царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя Белыя России самодержца... ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей») была популярным учебным пособием не только по арифметике, но и по геометрии, физике, географии, астрономии и прочим естественным наукам.

У старика Дудина было три сына: они-то и обучались по этим книжкам грамоте. «Мудролюбивый российский отрок» Михайло, раз увидев «Грамматику» и «Арифметику» в соседском доме, уже не отставал от стариковских детей: просил, чтобы отдали их ему. Не смущаясь отказом, он вновь и вновь умолял, старался всячески угодить соседям, подольститься. Всякий раз при встрече с кем-нибудь из Дудиных он чуть не плача выпрашивал заветные книжки. Наконец не выдержали соседи, и Михайло получил желанные сокровища. А получив, уже не выпускал их из рук, повсюду носил с собою и, читая их постоянно, выучил наизусть. Потом он с благодарностью вспоминал «Грамматику» и «Арифметику» и называл их «вратами своей учености». Эта история с книгами показывает, как рано проявилась в Ломоносове настойчивость и твердость в исполнении задуманного.

«Грамматика» и «Арифметика» попали в руки Ломоносова около 1725 года — то есть фактически в момент основания Петербургской Академии наук. В этом случайном совпадении была своя закономерность. В 1725 году академия еще не была академией в том смысле, какой вкладывал в это великое свое начинание Петр I,— еще не стала средоточием и кузницей отечественных научных кадров, еще не объединяла под знаменем просвещения «природных россиян». Ломоносов — чье имя станет впоследствии едва ли не синонимом академии — так же, как она, только еще вступал в период своего становления. Пройдет двадцать лет, и он займет в ней свое высокое место и напомнит, ради чего она создавалась, и поставит перед ней великие научные и государственные задачи.

О Петре I, основавшем академию, Ломоносов знал не только по титульному листу «Арифметики» Л. Магницкого. Венценосный просветитель, как уже говорилось, неоднократно бывал в поморском крае. Среди местного населения

из уст в уста передавались многочисленные рассказы о царе Петре. Еще мальчишкой Михайло мог слышать о нем от своего дяди Луки Леонтьевича Ломоносова (1645—1727). Да и сам Василий Дорофеевич видел Петра в Архангельске и рассказал своему сыну об одном колоритном эпизоде, связанном с царским посещением архангельского порта. Порывистый и скорый в движениях Петр, переходя с корабля на корабль, оступился и полетел вниз — в баржу, груженную горшками. Долговязый и крепкий в кости, он причинил значительный ущерб хрупкому товару, но тут же «по-царски» расплатился с хозяином баржи, дав ему червонец.

Как знать,— может быть, именно рассказ о царе, услышанный в детстве, помог Ломоносову глубже понять сущность его противоречивой натуры. Петр, лежащий на груде глиняных черепков, — эта картина запечатлелась в памяти Ломоносова на всю жизнь.

В таких рассказах перед молодым Ломоносовым вставал живой облик Петра, непосредственного в своих поступках, по-человечески близкого и понятного. Впоследствии, в ораторских и поэтических произведениях он создаст могучий образ Петра, который

Рожденны к скипетру простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки,
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних супостатов...

Начало самообразования Ломоносова совпало по времени с важными переменами в жизни семьи. В 1724 году Василий Дорофеевич женился на Ирине Семеновне Корельской (опять-таки из Николаевских Матигор: очевидно, это село славилось своими невестами). То был его третий брак. Первая жена, Елена Ивановна, умерла, когда Михайле было девять лет. Следующий брак также был непродолжительным (и вторая жена скоро скончалась). Разросшееся хозяйство Василия Дорофеевича настоятельно требовало женского присмотра. И вот 43-летний помор женится в третий раз, а его 14-летний сын получает вторую мачеху, сварливую и злую к пасынку.

Сам Василий Дорофеевич очень любил Михайлу, посвоему старался устроить его счастье и не только готовил его в наследники довольно большого своего состояния, но

и хотел видеть в нем крепкого хозяина, который в будущем увеличил бы отцовское богатство. Он радовался успехам сына в грамоте, его сообразительности и, как человек неглупый и предприимчивый, не мог не одобрять сыновнюю страсть к наукам. Но Василий Дорофеевич (видевший в учении только средство к достижению определенных практических целей) не имел представления о размерах и силе этой страсти. Судьба наградила Василия Дорофеевича гениальным сыном, но положила порог, за который пути отцу были заказаны. Вот у этого-то «порога» и развила свою энергичную деятельность Ирина Семеновна.

Тридцать лет спустя Ломоносов вспоминал: «...Имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, но в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами: для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных местах и терпеть стужу и голод».

Внешне это может выглядеть как типичный пример конфликта «отцов и детей»: так сказать, антагонистическое противоречие между старой и новой Россией в пределах одной семьи. Однако ж не будем спешить с выводами. Вспомним, что Василий Дорофеевич первым в Поморье (следовательно, во всей стране) «состроил и по-европейски оснастил галиот». Да и представлять дело так, что он ничего не дал сыну для его духовного развития, тоже было бы в корне неверно. Ломоносов-отец дал будущему поэту и ученому то главное, фундаментальное, чего тот не смог бы почерпнуть нигде — ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Германии — и ни в одной книге: несокрушимый здравый смысл (то есть пытливость ясного ума в сочетании с практической сметливостью), упорство в выполнении поставленных задач (то есть «благородную упрямку», которую зрелый Ломоносов ставил себе в решающую заслугу) и, наконец, чувство собственного достоинства (то есть мужественное сознание своей неповторимости, своей самоценности). Можно даже сказать, что Василий Дорофеевич не узнал в Михайле *самого себя*: настолько неожиданно и мощно явились в сыне его же собственные задатки...

Тем не менее после того, как в доме появилась новая мачеха, ощущение одиночества и подавленности надолго овладевает Михайлой. Настраивая отца против него, Ири-

на Семеновна лишала своего пасынка домашней опоры, родственной поддержки, столь необходимой ему в то время. Михайле шел уже пятнадцатый год. Это, выражаясь современным языком, «трудный возраст». Юноша далеко обогнал своих сверстников в грамоте. Он еще участвует в общих забавах (самой популярной из них, кстати сказать, были кулачные стычки), но эти забавы уже не приносят ему удовлетворения. И не потому, что он отставал от других: от природы он был наделен недюжинной физической силой. Просто ему этого было мало. Он во всем мог понять своих ровесников, а они его — нет; причем сами это ощущали. Однажды мишанинские парни, среди которых были и старше его, поколотили Михайлу при выходе из церкви, где он читал прихожанам псалмы: не выделяйся.

Казалось бы, выход один — уйти с головой в учебу. Но, во-первых, кроме «Грамматики» и «Арифметики» да еще церковных книг, чтения не было никакого. А во-вторых, Ломоносов с самой своей юности видел в науках не средство ухода от действительности, но именно средство единения с нею. Органичный и непосредственный, он стремился в первую очередь к живому и обоюдному общению как с природой, так и с людьми. Будучи феноменально отзывчивым ко «всем впечатленьям бытия», он исподволь рассчитывал на ответную отзывчивость со стороны окружающих. Глубоко переживая каждый факт своей духовной биографии (будь то страсть к наукам или чувство обиды из-за нападок мачехи), он жаждал сопереживания. Ему нужно было человеческое участие и понимание, а он его не находил нигде. Родная мать давно умерла. Отец вечно занят своими делами, а когда заходит речь о Михайле, склонен больше слушать новую жену...

Меня оставил мой отец
И мать еще в младенстве,
Но восприял меня творец
И дал жить в благоденстве.

Эти строки, написанные Ломоносовым много лет спустя, точно передают его душевное состояние в ту пору, когда он примерно на семнадцатом году жизни присоединился к раскольничьей секте беспоповцев.

Раскольники, или старообрядцы (то есть приверженцы «старой веры»), как уже говорилось, облюбовали русский Север еще во время религиозных гонений середины XVII века. Внешне старообрядчество представляло собой

протест против церковных нововведений, осуществленных при патриархе Никоне. На деле же оно стало одной из характерных и ярких форм антифеодальной борьбы. Народ отстаивал те самобытные начала своего жизненного уклада, которые были освящены традицией, но подвергались неумолимому разрушению усиливающимся крепостничеством. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не желая мириться с новым «уставом», люди уходили в леса, собирались в «скиты», а в случае нападения или осады сжигали себя заживо в срубах на глазах у потрясенных царских ратников. Раскольничество XVII века было исторически неизбежным дополнением к другому стихийному движению народного протеста, каким явилось восстание под руководством Степана Разина.

Юноша Ломоносов наверняка слышал о гонениях на раскольников. Память о них в Поморье была свежа. Прошло только пятьдесят лет после разгрома и казни мятежных «старцев» Соловецкого монастыря в 1676 году и еще меньше — после «огненной» смерти протопопа Аввакума, полжизни отдавшего борьбе с отцом Петра I, «тишайшим» царем Алексеем Михайловичем. Случались самосожжения и в XVIII веке (например, в 1726 году недалеко от Холмогор, когда Ломоносову было пятнадцать лет).

Раскольники жили дружно, всегда выручали своих единоверцев, в общении с окружающими показывали себя умелыми дипломатами, несомненно обладавшими большой силой логического и нравственного воздействия на людей колеблющихся и недовольных. При некоторых старообрядческих общинах создавались школы, где молодежь обучалась риторике и грамматике. Старообрядцы привлекали к себе способных художников и певцов.

Сближение молодого Ломоносова с раскольниками (правда, мы не знаем, как далеко и насколько глубоко оно распространялось), казалось бы, обещало разрешить все мучившие его вопросы. Однако он «вскоре познал, что заблуждает». Постоянная обращенность к делам небесным, а не земным, их сектантская отъединенность от остальных людей, фанатическая нетерпимость к малейшему проявлению индивидуальности — все это вместе взятое отпугнуло юношу от его временных «братьев». Ломоносов с новой надеждой обращает свой взор к учению, к наукам.

...Знания, сообщавшиеся в «Грамматике» и «Арифметике» лишь на короткий срок утолили духовный голод Ломо-

носова. То, что он рано или поздно уйдет из Мишанинской, для него, надо думать, было ясно. Вопрос заключался лишь в том, где продолжить образование. От родственников и односельчан он узнал, что для серьезного изучения наук надо уметь читать и писать «по-латыне».

Неподалеку от Мишанинской, в Холмогорах, архиепископ Варнава в 1723 году основал «Словесную школу», но туда Ломоносова (как крестьянина) не приняли бы. Он решает идти в Москву, которую многие мишанинцы хорошо знали, часто бывая там по своим торговым делам, и потому могли рассказать «мудролюбивому отроку» о Славяно-греко-латинской академии. Там, надеялся Михайло, легче будет скрыть свое происхождение.

Исполнить замысел было нелегко: нужны были деньги, чтобы добраться до Москвы, и, кроме того — нужно было решиться на разрыв с семьею. Однако страсть к знаниям имела над ним уже безграничную власть. И как это часто бывает, неутоленная страсть сделала ум юноши на редкость изобретательным. Ломоносов, достигший к этому времени девятнадцатилетнего возраста, ждал лишь удобного случая.

Наконец такой случай представился. Вот как описывается уход Ломоносова из родительского дома в академической биографии: «Из селения его отправлялся в Москву караван с мерзлою рыбою. Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел, как будто из одного любопытства, на выезд сего каравана. Следующей ночью, как все в доме отца его спали*, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед. В третий день настиг его в семидесяти уже верстах. Караванной приказчик не хотел прежде взять его с собою, но, убежден быв просьбою и слезами, чтоб дал ему посмотреть Москвы, наконец согласился. Через три недели прибыли в столичный сей город. Перьвую ночь проспал Ломоносов в обшевнях у рыбного ряду. Назавтрее проснулся так рано, что еще все товарищи его спали. В Москве не имел ни одного знакомого человека. От рыбаков, с ним приехавших, не мог ожидать никакой помощи: занимались они продажею только рыбы своей, совсем о нем не помышляя. Овладела душою его скорбь;

---

* «Не позабыл взять с собою любезных своих книг, составлявших тогда всю его библиотеку: грамматику и арифметику». *(Примечание биографа.)*

начал горько плакать; пал на колени; обратил глаза к ближней церкви и молил усердно бога, чтобы его призрил и помиловал.

Как уже совсем рассвело, пришел какой-то господский приказчик покупать из обоза рыбу. Был он земляк Ломоносову, коего лице показалось ему знакомо. Узнав же, кто он таков и об его намерении, взял к себе в дом и отвел для житья угол между слугами того дома.

У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском монастыре, которой часто к нему хаживал. Через два дни после приезда его в Москву пришел с ним повидаться. Представя он ему молодого своего земляка, рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению и просил усильно постараться, чтоб приняли его в Заиконоспасское училище. Монах взял то на себя и исполнил самым делом. И так учинился наш Ломоносов учеником в сем монастыре»[5].

В этом рассказе прекрасно показано, как страсть, овладевшая всем существом юноши, изощряет его волю, приводит в движение все силы его души, направляет их к достижению желанной цели: он и «играет» перед домашними, не подавая виду, что обоз для него — все, и пытается разжалобить слезами приказчика, и выказывает бесстрашие, в одиночку бросаясь за ушедшим обозом по ночной зимней дороге, и рыдает — уже не притворными слезами, а слезами отчаяния,—когда видит, что могут рухнуть его заветные надежды... И все это — потому что знает: если не утолит свою страсть, если не отдаст всего себя наукам, поиску истины, то жизнь его утратит что-то важное, что-то ничем не заменимое, что-то такое, без чего и жизнью-то ее, пожалуй, не назовешь.

В свое время Г. В. Плеханов, разбирая известные стихи Некрасова о Ломоносове, заметил: «...архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле. Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был именно архангельским мужиком, мужиком-поморцем, не носившим крепостного ошейника»[6]. Это верно, что, родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, Москвы бы он не увидел даже при очень сильном стремлении к наукам и в лучшем смог бы

дойти из своего дома лишь «до господской усадьбы и до господской пашни»[6].

Целиком и полностью принимая эту принципиально верную социологическую поправку, будем все-таки помнить, что из всех крестьян, «не носивших крепостного ошейника», только Ломоносов стал для русской культуры тем, чем Леонардо да Винчи и Галилей были для итальянской, Лейбниц и Гете для немецкой, Декарт и Вольтер для французской.

У Пушкина, много размышлявшего над судьбою Ломоносова и много писавшего о нем, есть одно стихотворение — короткое и непритязательное, но удивительно глубокое по силе проникновения в самую суть вопроса и гениальное по простоте исполнения. Вот оно:

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!

Некий голос властно повелевает сыну рыбака покинуть берег Студеного моря и дерзнуть в плавание по морю истины: «Оставь!» Его призыв настолько мощен и значителен, что иначе как роковым его не назовешь. Но кому принадлежит этот голос? Что это: ретроспективное знание Пушкина о жизни Ломоносова? или «бога глас» (как в «Пророке»)? или, может быть, это внутренний голос героя — самого мальчика, непосредственно и ясно прозревающего свое грандиозное предназначение?..

Юношески-бесповоротное решение девятнадцатилетнего Ломоносова уйти в Москву было актом пробудившегося сознания, событием, определившим всю дальнейшую судьбу этого великого человека. В сущности, именно здесь начало его величия. От отцовского наследства, от богатых невест (Василий Дорофеевич уже продумал и этот вопрос), от вполне реальной перспективы стать (с его-то способностями!) первым человеком на Курострове, а возможно, и на всем Поморье, он в надежде иной славы пошел за истиной, которая хоть и способна возбудить в душе честолюбивое чувство, но никогда, никому и нигде не дает никаких гарантий на успех и только властно зовет в неведомое. «И се природа твое торжество,— писал Радищев в «Слове о Ломоносове».— Алчное любопытство, вселенное тобою в ду-

ши наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием, не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет, и махом прерывая узы, летит стремглав... к предлогу своему»[7].

Так оно и было в 1730 году: клокочущее сердце Ломоносова стремглав летело к своей цели.

2

В начале жизни школу помню я...
Пушкин

Славяно-греко-латинская академия (или Спасские школы, или Заиконоспасское училище), куда стремился Ломоносов, была учреждена в 1687 году. Ее основатели, греки братья Лихуды, были весьма образованными людьми: прежде чем попасть в Москву, они учились сначала в Венеции, а затем в Падуанском университете. Иоанникий Лихуд вел в академии физику, Софроний — физику и логику. Основою их физического и логического курсов являлась система Аристотеля. Много внимания уделялось изучению трудов выдающихся византийских философов Василия Великого (IV в.) и Иоанна Дамаскина (VIII в.). Произведения этих писателей, в которых на основе оригинального толкования главных философских положений Аристотеля выдвигалась их собственная трактовка мира, по мнению современного исследователя, открывали «больше простора для размышления и поэтического обращения к природе, чем средневековая западная схоластика»[8]. (Между прочим, Ломоносов в своих научных работах неоднократно и всегда с уважением отзывался о Василии Великом и Иоанне Дамаскине.)

Лихуды были яркими представителями «греческого» направления в культуре Московской Руси ее последнего периода, накануне петровских преобразований. Для этого направления характерно пристальное внимание, в первую очередь, к проблемам философии, истории и природоведения — в отличие от «латинского», тяготевшего, в основном, к риторике и стихотворству. Плодотворное противоборство этих направлений составляло примечательную особенность московской культурной жизни конца XVII века. Коснулось оно и Спасских школ, когда в 1701 году по указанию Петра I в них было введено преподавание латыни.

В Славяно-греко-латинской академии (по примеру созданного ранее Киево-Могилянского коллегиума) было восемь классов: четыре низших, в которых учащиеся усваивали чтение и письмо по-старославянски и по-латыни, основы географии, истории, арифметики, а также катехизис; два средних, где изучались приемы стихосложения и красноречия,— причем, на этом этапе ученики уже должны были свободно изъясняться на латинском языке; и наконец два высших класса, отведенных для прохождения главных предметов, каковыми являлись философия и богословие.

На двух последних курсах ученики уже считались студентами и по окончании их выходили из академии со свидетельствами ученых богословов и становились священниками, учителями в светских учебных заведениях (число которых резко возросло при Петре), государственными служащими. Для того чтобы закончить полный курс академии, иным требовалось десять, а то и двенадцать — тринадцать лет.

Сюда-то «по своей и божьей воле» пришел в конце января 1731 года с намерением всенепременно попасть в число учеников Михайло Ломоносов — этот юноша, «гоняющийся за видом учения везде, где казалось быть его хранилище» (Радищев).

В беседе с архимандритом Заиконоспасского монастыря Германом он назвался дворянским сыном, так как, безусловно, знал, что по указу Святейшего Синода от 7 июня 1723 года ректорам духовных учебных заведений строжайше предписывалось «помещиковых людей и крестьянских детей, а также непонятных (т. е. непонятливых.— *Е. Л.*) и злонравных, отрешить и впредь не принимать». Мнимый «холмогорский дворянин», судя по всему, не произвел на отца Германа впечатления человека «непонятного и злонравного» и был зачислен в штат учеников с жалованьем десять рублей в год.

Можно себе представить, с какой жадностью Ломоносов впитывал в себя разнообразные знания, сообщавшиеся учеными монахами, с каким усердием и вниманием читал он книги в монастырской библиотеке.

В Славяно-греко-латинской академии в большом почете были старинные книги византийских, греческих и римских писателей. Помимо Аристотеля, Василия Великого и Иоан-

на Дамаскина, в библиотеке академии были представлены Платон, Плутарх, Демосфен, Фукидид, Цицерон, Цезарь, Корнелий Непот, Сенека, Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин и др. Хорошо была здесь подобрана и художественная античная литература: Гомер, Вергилий, Теренций, Плавт, Ювенал, Гораций, Овидий... Из произведений европейской литературы нового времени можно было найти «Дружеские беседы» Эразма Роттердамского, «О праве войны и мира» Гуго Гроция, «Князя» Н. Макиавелли, «О должности человека и гражданина» С. Пуффендорфа и его же «О естественном праве и праве общин для всех народов» и т. д. И конечно же, богатою была подборка книг на старославянском языке...

Для молодого помора, который во всем, что касалось наук, жил до сих пор «впроголодь», это великолепное собрание творений мудрецов должно было казаться настоящим пиром разума.

В монастырской библиотеке, писал академический биограф, «сверх летописей, сочинений церковных отцов и других богословских книг, попалось ему в руки малое число философских, физических и математических книг»[9]. Как установлено исследователями, в это «малое число» философских и естественнонаучных книг входили труды Тихо Браге, Галилея, Декарта. Сюда же следует включить «Полидора Биргилия Урбинского осмь книг о изобретателях вещей», энциклопедическое пособие по истории философии и естествознания, изданное в 1720 году и сообщавшее, между прочим, сведения по античной атомистике и материализму.

Однако определяющей чертою философского и физического курсов академии было неукоснительное следование Аристотелю, точнее: умозрительная интерпретация его богатейшего философского и естественнонаучного наследия. Вот что пишет историк Славяно-греко-латинской академии по поводу объема и уровня физических знаний ее тогдашних преподавателей: «Писания их представляют одно и то же содержание, писаны в том же схоластическом духе, даже во многом сходятся между собою буквально. В основании было одно: книги Аристотеля и комментарии на них, составленные во множестве перипатетиками средних веков. Оставалось по строго определенному плану строить здание науки, и наставники не отступали от него в существенных пунктах. Они только разнообразили язык, переставляли

трактаты с одного места на другое, что мы и видим во всех учебниках академии»[9].

Ломоносов сразу же выделился среди учеников своими дарованиями и исключительным прилежанием. Через полгода его перевели из нижнего класса во второй и еще через полгода — из второго в третий. Год спустя он уже настолько был силен в латинском языке, что мог сочинять на нем небольшие стихи. Вскоре он начал изучать греческий язык.

Сознание молодого Ломоносова, насыщенное впечатлениями от живого и непосредственного контакта с природой, изнемогавшее в ожидании исчерпывающего ответа на те вопросы, которые он пронес с собою от берегов Белого моря до Москвы, — не было удовлетворено. Аристотель, его средневековые комментаторы, ученые монахи Заиконоспасского монастыря предлагали ему стройную, логически упорядоченную, выверенную в деталях схему природы, которая, однако, не имела ничего общего с действительной природой. В этом убеждал Ломоносова его опыт, его собственные наблюдения (естественно, не учтенные ни в трудах великого античного мыслителя, ни в учебных пособиях академии). Уже были прослушаны курсы географии, истории, арифметики, прочитаны книги по философии и мироведению в академической библиотеке, а ответа на свои вопросы юноша не находил.

Осенью 1734 года Ломоносов обратился к архимандриту с просьбой послать его на один год в Киев учиться философии, физике и математике.

Киево-Могилянский коллегиум, куда с надеждой устремился Ломоносов, был «старшим братом» Славяно-греко-латинской академии. Он славился на всю Россию своими преподавателями-«латинщиками», философами, риторами, историками, грамматиками. Библиотека коллегиума поражала современников богатством собранных в ней книг. Однако вопреки ожиданиям Ломоносов и в Киеве не нашел новых знаний по естественным наукам. И в Киеве умами физиков деспотически владел все тот же Аристотель.

Казалось бы, новое разочарование: опять только пустые словопрения. Стоило ли ехать в Киев, чтобы услышать то, что уже надоело в Москве? Вряд ли Ломоносов задавал себе столь праздный вопрос. Он работал: рылся в книгах, делал записи, размышлял над прочитанным, возможно, вступал в споры с киевскими книжниками...

Стремление Ломоносова извлечь максимальную пользу из своей поездки в Киев показывает, насколько сильна в нем была «поморская», практически-хозяйственная жилка. Не удалось узнать ничего нового в физике и математике? Что ж, отчаиваться не стоит — надо посмотреть, нет ли других сокровищ в киевской кладовой знаний. И вот уже Ломоносов целыми днями просиживает над изучением русских летописей. Перед ним проходят главнейшие события отечественной истории, и цепкая его память навсегда удерживает прочитанное. Он, как рачительный хозяин, запасает знания впрок, чтобы в нужную минуту они всегда были под рукой. Это чтение отзовется потом и в одах Ломоносова, и в трагедии «Тамира и Селим», и в «Древней Российской истории», и в «Идеях для живописных картин», и в замечаниях на книги по русской истории Миллера и Шлецера.

Ломоносов изучает и неповторимую архитектуру Киева, мозаичные и живописные шедевры Софии Киевской, собора Михайловского Златоверхого монастыря, Успенского собора Киево-Печерской лавры. Знаменитая «киевская мусия» (то есть цветное стекло для мозаичного набора) производит на него ошеломляющее впечатление. Отсюда идет то направление позднейших поисков Ломоносова, которое включает в себя работы по технологии производства цветных стекол, опыты в создании мозаичных картин, поэму «Письмо о пользе Стекла» и т. д. — вплоть до мелких пометок («Достать киевской мусии»,— читаем в его «Химических и оптических записках»). Установлено, например, что мозаичные картины Ломоносова «Нерукотворный Спас» (1753) и портрет Петра I (1754) весьма близки по манере исполнения к мозаикам Михайловского Златоверхого монастыря[10].

Так или иначе, в Москву Ломоносов вернулся не «с пустыми руками». Поездка в Киев значительно обогатила его представления о русской культуре, поставила перед ним много новых вопросов и, одновременно, впервые выявила энциклопедичность его творческих устремлений уже на раннем этапе развития.

1734 год для Ломоносова был примечателен еще в одном отношении. К этому времени относится начало его серьезной работы над теорией поэзии и ораторского искусства.

2 Заказ 1297

Преподавание пиитики и риторики в Московской (как и в Киевской) академии велось на высоком уровне и опиралось на богатейшую традицию мировой эстетической мысли («Поэтика» и «Риторика» Аристотеля, книги Цицерона по теории красноречия, «Послание к Пизонам» Горация, «Образование оратора» Квинтилиана). Незаменимым теоретическим и учебным пособием для студентов того времени был курс лекций, прочитанный по-латыни в Киево-Могилянской академии знаменитым сподвижником Петра I Феофаном Прокоповичем (1681—1736),— «Поэтика» (1705). В бытность свою в Киеве Ломоносов внимательно прочитал «Поэтику», оставив на ее полях много пометок.

Но еще до этого он добросовестнейшим образом изучал теорию поэзии в Славяно-греко-латинской академии. Феофилакт Кветницкий, наставлявший Ломоносова в этом предмете, говорил: «Поэзия есть искусство о какой бы то ни было материи трактовать мерным слогом с правдоподобным вымыслом для увеселения и пользы слушателей». «Вымысел, — записывал 23-летний Ломоносов слова иеромонаха Феофилакта, — необходимое условие для поэта, иначе он будет не поэт, а версификатор (стихотворец.— *Е. Л.*). Но вымысел не есть ложь. Лгать — значит идти против разума. Поэтически вымышлять — значит находить нечто придуманное, то есть остроумное постижение соответствия между вещами несоответствующими... Иначе — вымысел есть речь ложная, изображающая истину»[11].

Подобные определения, при всей их сухой схоластичности, ставили, в сущности, очень живой и по сей день трудноразрешимый вопрос *о мере вымысла* (следовательно, о мере правдоподобия) в поэзии. Искусство не должно слепо копировать жизнь: вымысел — основа его. Но лгать — грешно. Тут перед московскими школярами, воспитанными на религиозных догмах, вставала неразрешимая загадка нравственного и, одновременно, эстетического порядка. Их наивное сознание привыкло воспринимать все написанное в книгах как самую доподлинную правду — настолько сильна иллюзия правдоподобия, создаваемая поэзией.

Но если поэзия вся зиждется на вымысле (сиречь: лжи, грехе!), то она безбожна?

Вот почему иеромонах подчеркивает, что «вымысел не есть ложь». А это уже в глазах учеников выглядит как

сплошной абсурд. Но опытный наставник умело ведет их в самое «пекло» эстетики — к вопросу о специфике художественного образа и его отношениях к реальной действительности.

Настоящий поэт (а не стихотворец, умеющий только пользоваться размерами) должен нести в себе способность видеть нечто общее в разрозненных фактах действительности. Феофилакт Кветницкий специально останавливает внимание своих подопечных именно на этом пункте, когда говорит о необходимости для поэта постигать «соответствие между вещами несоответствующими». В жизни события, факты, явления идут друг за другом единым потоком, без разбора, вперемежку — и только зоркий глаз поэта может уловить в этой неразберихе глубокое «соответствие» и единство, не замечаемое другими, и показать его через посредство неожиданных сравнений, ярких метафор и т. д. «Всего важнее быть искусным в метафорах; это признак таланта, только этого нельзя занять у другого, потому что слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство»,— писал Аристотель. При этом важно подчеркнуть, что Аристотель (и его московский последователь Ф. Кветницкий) считал метафору средством познания (подмечать сходство, открывать общее в разрозненных фактах), а не средством поэтического украшения.

Все это было близко и понятно молодому Ломоносову. Уже проявивший к этому времени необычайную широту интересов, он ощущал (покуда интуитивно) универсальную связь мировых явлений, казалось бы, столь разнородных и непохожих. Вспомним, что он хорошо знал сделанный Симеоном Полоцким стихотворный перевод Псалтыри, где взволнованное переживание этого мирового единства передается при помощи, прежде всего, метафорических выражений. Теперь, на школьной скамье Заиконоспасского монастыря, Ломоносов находил теоретическое обоснование того, что поэзия — это один из самых действенных и полнокровных способов, через которые познается и выражается единство мира. «Вымысел есть речь ложная, изображающая истину»...

Говоря о пребывании Ломоносова в Славяно-греко-латинской академии, нельзя забывать о том, что при всей своей страсти к познанию, проявившейся так мощно и так

многообразно, он все-таки оставался помором, и, к тому же, молодым.

Наделенный от природы непосредственным темпераментом, душою отзывчивой и увлекающейся, Ломоносов попал в большой столичный город, когда ему было едва за двадцать. Трудно поверить, чтобы этот здоровый парень, который в четырнадцать лет легко справлялся с тридцатилетними лопарями, которому тогда же лопарских женщин «видеть нагими случалось», которого отец буквально накануне его ухода в Москву уже сватал в Коле за дочь «неподлого человека»,— трудно поверить, чтобы он все свое время в Москве проводил только в классах да за книгами в библиотеке. Трудно себе представить Ломоносова этаким провинциальным «отличником», который пришел в Белокаменную из своей деревни, чтобы усидчивостью и зубрежкой взять верх над избалованными московскими лентяями.

Вспоминая годы московского ученичества, Ломоносов, между прочим, писал: «Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели». Эти «пресильные стремления», по его же собственному признанию, уводившие Ломоносова от наук, необходимо учитывать. Не исключено, что именно они стали причиною события, о котором аллегорически рассказывается в первом стихотворении Ломоносова, написанном в Славяно-греко-латинской академии, когда ему было около двадцати трех лет.

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! — плачут убоги,—
Меду полизали,
А сами пропали.

В первой публикации к этим стихам было дано интересное пояснение: «Сочинение г. Ломоносова в Московской академии за учиненный им школьный проступок»[12]. В чем, собственно, состояла провинность, осталось неизвестным. Но само содержание стихотворения позволяет догадываться, что дело здесь идет о каком-то уклонении от наук в сто-

рону соблазна, в сторону «сладкого» времяпрепровождения. Показательно, что в этих школьных силлабических стихах (написанных, впрочем, достаточно просто и легко) содержится вполне «взрослая» мысль: в сладкой-то жизни «увязнуть» можно так, что и совсем «пропасть» недолго, за все удовольствия рано или поздно приходится расплачиваться. Учитель (уже знакомый нам Ф. Кветницкий) высоко оценил как благонравное содержание, так и непринужденную форму стихотворения, поставив на листке, где оно было написано: «Pulchre» («Прекрасно»).

Жизнь Ломоносова в Москве стала не только испытанием для его творческих способностей, но и проверкою на прочность его нравственной природы. В Москве, это можно смело утверждать, сердце Ломоносова колебалось не однажды.

Вот как описывал он сам свое тогдашнее душевное состояние многие годы спустя: «С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды... С одной стороны, пишут, что зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают; смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться!»

Надо уметь почувствовать, что стояло за всеми этими «с одной стороны» и «с другой стороны».

Ведь тут поднимался вполне прозаический вопрос (именно прозаичностью своею для юноши, взалкавшего идеала, невыносимый): а стоило ли? Стоило ли обрывать связи с семьей и обрекать себя на одиночество в чужом городе? Стоило ли уважение, которым он пользовался среди односельчан как сын Василия Дорофеевича и сам по себе,— это уважение старших по возрасту менять на насмешки московских школяров? Стоило ли уходить от всего отцовского «довольства» на «один алтын в день», от палтосины и телятины на хлеб и квас? Стоило ли бежать от богатых холмогорских, матигорских и кольских невест,

чтобы все, что ни есть у него в душе и на сердце, отдать «любезным наукам»?

Он за три года закончил шесть классов училища и «дошел до риторики», он перерыл всю монастырскую библиотеку, он был в Киеве — он много, очень много узнал. Но он все еще далек был от «желанного берега». Бросить все, что делало его жизнь устойчивой и благополучной, пойти к одной цели и вдруг осознать, что эта цель (пусть даже и великая, пусть даже стоящая того, чтобы ради нее все бросить) постоянно ускользает от него, — тут ведь и возроптать недолго. Вот отчего мысли о плачевности своего положения — положения взрослого человека, который в двадцать четыре года все еще начинает с нуля, — он почти не мог преодолеть. Нести в себе это и все-таки верить в свое предназначение — вот что стоит за словами Ломоносова из того же письма: «Так я учился пять лет и наук не оставил».

...Наступила зима 1734/35 года, которой суждено было внести коренные перемены в судьбу Ломоносова.

Пока он усиленно готовился к экзамену по риторике под руководством иеромонаха Порфирия Крайского, пока он с тревогой думал о своем будущем (как и где продолжить образование?) и отдавал печальную дань заботам о настоящем (пустить ли сегодняшний «алтын» на бумагу под записи лекций иеромонаха Порфирия, или вдоволь наесться хлеба?), — пока шла эта московская жизнь Ломоносова, в которой надежды смешались с сомнениями, поэзия разума с житейской прозой, а голод духовный с прямым недоеданием, — в Петербурге, в Академии наук ее «главный командир» (так называли тогда президента), только что вступивший в должность барон Иоганн-Альбрехт фон Корф (1697—1766) решил ознаменовать свое назначение полезным для русской науки предприятием, которое, впрочем, было предусмотрено еще Петром I. Поскольку оно имеет самое непосредственное отношение к Ломоносову, объяснимся подробнее.

Создавая академию, Петр одну из ее основных задач видел вот в чем: «Академия, — говорил он, — должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой». Для достижения

этой цели император (который в расходовании казенных средств был человеком расчетливым, зачастую просто «прижимистым») не скупился на деньги. Так, например, представленную на его рассмотрение первоначальную, довольно высокую смету по расходам, связанным с академией, — 20 000 рублей (весь государственный доход составлял в ту пору 8 млн. руб.), — Петр увеличил почти на четверть и подчеркнул, что утвержденная сумма служит «только для начатия той Академии» и должна быть увеличена в дальнейшем». Половина академического бюджета определялась на уплату жалованья академикам, адъюнктам, переводчикам, студентам и прочим служащим. Это в то время, как даже члены знаменитой Французской академии не получали от государства ни сантима, а Прусская академия изыскивала средства на научную работу продажей календарей и устройством различных лотерей.

Петр большое внимание уделял и структуре будущей академии, понимая, что от этого во многом будет зависеть дальнейшая действенность ее работы. В соответствии с указаниями Петра, академия делилась на три отделения (класса):

«В первом все науки математические и которые от оных зависнут.

Во втором — все части физики.

В третьем — литере гуманиорес, гисториа, право натуры и народов».

Отделение математики состояло из шести кафедр (теоретической математики, астрономии, географии, навигации и двух кафедр механики). Второе отделение включало в себя четыре кафедры (собственно физики, анатомии, химии и ботаники). И наконец в гуманитарное отделение входило три кафедры (красноречия и древностей, новой и древней истории, права). Число академиков (или «профессоров» академии) равнялось одиннадцати. Каждый из них помимо выполнения научно-исследовательской работы должен был уделять серьезное внимание просветительской деятельности среди населения, «чтоб не токомо художествы и науки размножились, но и чтоб народ от того пользу имел».

Еще более важным, с точки зрения будущего русской науки, был специально оговоренный Петром пункт академического устава, вменявший в обязанность профессорам (на первых порах сплошь иностранцам) подготовку отече-

ственных научных кадров в видах постепенной «руссификации» академического штата: «Сверх того, Е[го] И[мператорское] В[еличество] соизволил оное собрание таким образом учредить, чтобы впредь упалые места академиков домашними наполниться могли. И того ради каждому академику студент, который уже в науках некоторое основание имеет, совокуплен будет, чтоб он между академиками науки свои в совершенство привести мог».

...В этом-то весьма серьезном направлении, на которое почти не обращалось внимания в течение первых десяти лет существования академии, и сосредоточил свои усилия барон Корф. В январе 1735 года он вошел в сенат с прошением об организации при академии «семинарии» для русских дворян (числом тридцать), которые обучались бы естественным наукам у академических профессоров. Очевидно, это прошение, несмотря на то, что оно опиралось на авторитет Петра, не возымело должного действия на «господ Правительствующий Сенат». В мае того же года Корф, человек энергичный, привыкший честно выполнять служебные обязанности, внес на рассмотрение сената новый проект, в котором предлагалось выбрать среди учеников при монастырях наиболее способных и подготовленных и направить их в Петербургскую академию, «чтоб с нынешнего времени они у профессоров сея Академии лекции слушать и в вышних науках с пользою происходить могли».

На этот раз сенат принял соответствующее постановление, и в скором времени новый ректор Славяно-греко-латинской академии архимандрит Стефан получил из Петербурга бумагу, предписывающую отобрать лучших семинаристов, «в науках достойных», для последующей отправки их в Академию наук.

Известие о том, что часть учеников старших классов поедет в Петербург для обучения физике и математике у тамошних профессоров, быстро распространилось по училищу. Ломоносов обрадовался этой новости и неотступно просил архимандрита послать его в северную столицу.

Видимо, поначалу ректор не спешил включать Ломоносова в число избранных. Не оттого, конечно, что способности или прилежание Ломоносова вызывали у него сомнения. Дело здесь было в другом. Скорее всего, здесь сыграла свою роль история, связанная с поступлением Ломоносова в За-

иконоспасский монастырь, вернее: некоторые подробности ее, всплывшие впоследствии. Как уже говорилось, в 1731 году, чтобы стать учеником, Ломоносов назвался сыном холмогорского дворянина. В сентябре 1734 года, узнав, что в составе географической экспедиции под руководством обер-секретаря сената И. К. Кирилова (1689—1737), направлявшейся в киргиз-кайсацкие степи, не доставало священника, Ломоносов предложил свои услуги. Ему очень хотелось принять участие в этой поездке: увидеть заволжские края, поближе познакомиться с практической географией. При оформлении бумаг он, чтобы облегчить себе рукоположение в священники и устройство на эту должность в экспедиции, показал под присягой, что «отец у него города Холмогорах церкви Введения пресвятыя богородицы поп Василий Дорофеев». Когда при проверке выяснилось, что никакого попа под этим именем в указанной церкви никогда не числилось, Ломоносову был учинен вторичный допрос, на котором он рассказал уже все как есть, — что «рождением-де он, Михайло, ...крестьянина Василья Дорофеева сын и тот-де отец его и поныне в той деревне обретается с прочими крестьяны». И вот теперь, когда встал вопрос о новом оформлении документов, уже в Петербург, эти старые факты (с административной точки зрения характеризовавшие Ломоносова как человека сомнительного), безусловно, опять оказались в поле внимания духовного начальства.

Казалось бы, надежды, так долго и так бережно лелеемые, вот-вот рухнут. Но тут пришла неожиданная и как нельзя более своевременная поддержка со стороны сильного человека. За Ломоносова вступился Феофан Прокопович, «Поэтику» которого он за год до того штудировал в Киеве. Феофан, хотя он во многом утратил влияние, которым пользовался при Петре, был в ту пору «синодальным вице-президентом», и его слово являлось достаточно авторитетным. Существует мнение, что свою роль в заступничестве Феофана за Ломоносова сыграло его «раскольническое» прошлое. Поморские старообрядцы в лице своих «лидеров» (например, Андрей Денисов) были связаны с Феофаном и могли замолвить перед ним словечко за молодого и способного холмогорца, который однажды проявил интерес к «старой вере»: взаимовыручка раскольников была известна всем. Однако, думается, более вероятным было бы предположить, что Феофан, человек Петра I, во многом лишенный сословных предрассудков, ценивший в людях тягу к про-

свещению, поддержал Ломоносова прежде всего за его выдающиеся способности.

Так или иначе, когда 23 декабря 1735 года двенадцать семинаристов (лучшие из лучших) в сопровождении отставного прапорщика Василия Попова выехали из Москвы, среди них был и «Михайло Ломоносов, что из риторики в нынешнем же году перешел до философии». В Петербург эти «двенадцать» (уж не по числу ли евангельских учеников комплектовал свою группу архимандрит Стефан?) прибыли в первый день нового 1736 года...

За восемь месяцев (с 1 января по 8 сентября) петербургского ученичества Ломоносов постарался, с одной стороны, восполнить пробелы своего образования по части естественных наук, а с другой стороны — усовершенствовать познания в области теории поэзии. Учителями Ломоносова были Георг-Вольфганг Крафт (1701—1754), профессор математики и физики, заведующий физическим кабинетом Академии наук, и совсем еще молодой адъюнкт, способный математик и переводчик Василий Евдокимович Адодуров (1709—1780).

Мечты Ломоносова о настоящей науке, об «испытании естества» стали наконец сбываться. Однако ж как далек он был в Москве от тех событий, которыми жила европейская мысль в течение последних трехсот лет! Декарт опроверг Аристотеля, Ньютон выступил против Декарта, Лейбниц обрушился на Ньютона и его последователей... Какие баталии разыгрывались в науке! И все это ему, бывшему московскому семинаристу, приходилось открывать для себя заново.

Как разобраться в сшибке теорий и мнений? Как не утонуть в бескрайнем море новых фактов, которое вдруг распростерлось перед ним? Сын помора ищет свою путеводную звезду и находит ее в собственной душе. Бездна премудрости не пугает его. Он молод, полон сил и решимости, его сознание ясно и зорко. Он все видит по-своему. К тому же в нем живет упорство, унаследованное от отца и его далеких предков, вольных новгородцев, — которое не терпит нажима извне и не позволяет ему принимать на веру ни одного научного положения, пусть даже и общепризнанного, освященного непререкаемым авторитетом (будь то Лейбниц или «славнейший и ученейший Невтон»). Он хочет сам до всего дойти, сам во всем разобраться, ибо сильна в нем уверенность, что он, Михайло Ломоносов, сын черносошного кре-

стьянина, выучившийся грамоте у дьячка, самоучкой постигший азы естественных наук, пешком пришедший в Москву, способен и в Петербурге «показать свое достоинство», усвоить любые сложности в науке и превзойти многих: ведь у него, в отличие от многих, есть свой взгляд на вещи, без чего невозможно и «свое достоинство». Вот почему молодой Ломоносов, изучая в Петербургской академии физику, химию, минералогию, математику, не просто «набирается ума» от других, а критически усваивает весь тот материал, который сообщают ему его учителя.

Уделяя львиную долю своего времени естественным наукам, Ломоносов не забывал и о науках словесных. В Петербурге он продолжал совершенствоваться в латыни и даже писал латинские стихи (которые, к сожалению, не сохранились). С живейшим интересом следил он за русской словесностью и прежде всего — поэзией. Тем более что его приезд в Петербург почти совпал по времени с одним важнейшим событием в тогдашней литературной жизни, которому суждено было внести коренные перемены в развитие отечественного стихосложения и многое определить в творческой судьбе Ломоносова.

В исходе января 1736 года Ломоносов приобрел недавно вышедшую книгу «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735). Автором ее был Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1769), известный поэт и переводчик, несколько лет назад вернувшийся из Франции и произведший фурор своим переводом галантного романа Поля Тальмана «Езда в остров Любви» (1730). С 1735 года он возглавил созданное при Академии собрание переводчиков (в которое входил и ломоносовский учитель В. Е. Адодуров). Открывая работу переводческого собрания, Тредиаковский высказал мысль о необходимости реформы русского стихосложения, добавив при этом: «Способов не нет, некоторые и я имею». Вскоре, в подкрепление столь ответственного заявления, он выпустил в свет означенный «Новый и краткий способ».

В течение почти целого столетия в русской книжной поэзии господствующим было так называемое силлабическое стихосложение, занесенное к нам из Польши. Крупнейшие русские поэты XVII — начала XVIII веков (Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Антиох Кантемир) писали

свои произведения силлабическими размерами. В основе силлабики лежал принцип равносложности: в рифмующихся строчках должно было содержаться одинаковое количество слогов. Рифмы употреблялись исключительно женские (то есть с ударением на предпоследнем слоге). Из всех разновидностей рифмовки наибольшей популярностью пользовалась смежная рифмовка. Стихотворные строки чаще всего заключали в себе тринадцать или одиннадцать слогов. Вот один из характерных примеров тринадцатисложного силлабического стиха (Феофан Прокопович в шутливой форме благодарит архиерейского эконома Герасима за угощение хорошим пивом):

Бежит прочь жажда, бежит и печальный голод,
Где твой, отче эконом, находится солод.
Да и чудо он творит дивным своим вкусом:
Пьян я, хоть обмочусь одним только усом.

Силлабика была чужда строю русского языка. Его природные свойства требовали иной поэтической гармонии. Одного равенства слогов в рифмующихся строках для вящего благозвучия русского стиха было явно недостаточно, ибо русский язык, в отличие от польского (более того: в отличие от всех без исключения европейских языков), имел — и имеет — самую свободную систему ударений. Если польские слова обладают фиксированным ударением на предпоследнем слоге, если, скажем, во французском языке ударение падает строго на последний слог, то в русских словах ударение может стоять и на последнем слоге, и на предпоследнем, и на третьем с конца, и даже на пятом, шестом, седьмом слоге с конца (например: разверни, разверните, развернутый, развернутые, разворачивающий, разворачивающиеся). При таком положении стихотворная система, учитывающая только равенство слогов и совершенно безразличная к распределению ударений в строке, становилась «прокрустовым ложем» для русских слов. Стих от прозаической речи в большинстве случаев отличался лишь рифмовкой.

Между тем в устной народной поэзии, не скованной никакими «системами», русское слово звучало свободно, ритмично и мощно. Народ — творец языка и его рачительный хозяин — извлекал из слова максимум мелодических возможностей.

Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное.

Так честили простые русские люди князя Александра Даниловича Меншикова в песне «Что пониже было города Саратова...» (кстати, и эта первая строка также на редкость мелодична).

Тредиаковский на первых порах выступал в своем творчестве как поэт-силлабист — это было данью его книжному образованию. Но, с другой стороны, он прекрасно знал русскую народную поэзию, внимательно к ней прислушивался, изучал ее как тонкий и проницательный ученый-филолог. Вот почему, когда Тредиаковский в 1735 году решился реформировать книжную поэзию, он не преминул подчеркнуть: «Поэзия нашего простого народа к сему меня довела».

Сущность реформы вкратце свелась к следующему. Тредиаковский исходил из положения о том, что «способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков». Он справедливо считал силлабические стихи «не прямыми стихами», иронически называл их «прозаическими строчками», указывая таким образом на чуждость их поэтическому строю нашего языка, или «польскими строчками», подчеркивая их нерусское происхождение и искусственный характер их перенесения в отечественную поэзию. Взамен принципа одной только равносложности Тредиаковский вводил требование слагать стихи «равномерными двусложными стопами», иными словами: утверждал такой «способ сложения стихов», который основывался на правильном чередовании ударных и безударных слогов. Свои рассуждения Тредиаковский подкреплял собственными примерами нового стиха, который отличался особой упругостью и мелодичностью:

Мысли, зря смущенный ум, сами все мятутся;
Не велишь хотя слезам, самовольно льются.

Русский стих получил качественно иную ритмическую организацию. В сущности, только теперь русский стих и родился.

Ломоносов читал «Новый и краткий способ» с жадным интересом. Он прекрасно был знаком как с силлабическим стихосложением, так и с устной народной поэзией, и потому сразу заметил и оценил рациональное зерно, содержавшееся в трактате Тредиаковского. Но оценил по-своему, поломоносовски. Реформа Тредиаковского была половинча-

той (он считал возможным употребление только длинных размеров,— по преимуществу, семистопных хореев; ограничивал рифмовку только женскими окончаниями и т. д.). Экземпляр «Нового и краткого способа», купленный Ломоносовым, сохранился. Он весь испещрен пометками, сделанными ломоносовской рукою. В большинстве случаев замечания Ломоносова носят полемический характер: он уже готовился к аргументированному спору с Тредиаковским.

3

О боже, что есть человек...
Ломоносов

Нельзя видеть в стихотворной реформе Тредиаковского только формальное нововведение: в ней, безусловно, был заключен глубокий исторический и чисто человеческий смысл.

Судьба Тредиаковского во многом напоминала ломоносовскую. Василий Кириллович не был знатен. Он родился в семье астраханского священника. Что ожидало молодого поповича в полуазиатском захолустье? Скорее всего, подобно своему отцу, он сделался бы церковным служителем, если бы не его непреодолимая жажда знаний и если бы не эпоха Петра, властно вторгавшаяся в судьбы людей, пробуждавшая честолюбивые мечты в душах черносошных крестьян и поповичей.

Лет семнадцати от роду Тредиаковский для «прохождения словесных наук на латинском языке» определяется в школу, которую основали в Астрахани случившиеся там монахи-католики из ордена капуцинов. Отношение к этим иноверцам у местного духовенства было враждебным, но школу отстоял астраханский губернатор Артемий Волынский (тот самый, который через несколько лет, став кабинет-министром Анны Иоанновны, прославит и ославит себя в потомстве, с одной стороны, смелым выступлением против ее временщика Бирона и, с другой стороны, гнусным избиением придворного «пииты Василья Тредиаковского»).

В 1722 году в Астрахань приехал Петр I, направлявшийся в свой персидский поход. Это событие внесло коренной

перелом в дальнейшую судьбу Тредиаковского. Сохранился даже анекдот о том, что царь, увидев Тредиаковского среди его сверстников, указал на него пальцем и предрек: «Этот будет вечный труженник».

За Петром в составе свиты приехали бывший молдавский господарь Дмитрий Кантемир, энциклопедически образованный человек, прекрасный знаток Востока (отец поэта Антиоха Кантемира), и его секретарь Иван Ильинский, переводчик и поэт-силлабист («праводушный, честный и добронравный муж, да и друг другам нелицемерный», как скажет о нем Тредиаковский через тридцать лет). Познакомившись с девятнадцатилетним астраханским поповичем, Иван Ильинский заметил его незаурядные способности и прилежание к словесным наукам и, очевидно, посоветовал ему ехать в Москву для дальнейшего обучения.

В начале 1723 года Тредиаковский так же, как потом Ломоносов с берегов Белого моря, едва ли не пешком отправляется с берегов моря Каспийского в Славяно-греко-латинскую академию. Там в течение трех лет изучает он пиитику и риторику, пробует перо в сочинении трагедий на античные сюжеты, пишет «Элегию» на смерть Петра I.

Не доучившись, Тредиаковский оставляет Заиконоспасский монастырь и в конце 1725 года отправляется с дипломатической оказией в Голландию. Более года живет в Гааге, у русского посланника графа Головкина, знакомясь с европейской культурой, изучая языки, а затем, в 1727 году, пешком отправляется в Париж, о котором был много наслышан еще в Астрахани от капуцинов. Три года живет он в доме русского посла во Франции князя Куракина: на полном обеспечении, исполняя секретарские обязанности.

В заграничном периоде биографии Тредиаковского много загадочного. Существует мнение, что он играл при Куракине роль политического и клерикального агента (ему, например, было поручено вести переговоры с теологами из Сорбонны, которые еще со времени пребывания в Париже Петра I, то есть с 1717 года, высказывались за союз католической и православной церкви). Но не только и не столько дипломатическими поручениями было заполнено его пребывание во Франции.

Тредиаковский со свойственным ему трудолюбием и скрупулезностью изучает здесь различные науки и прежде

всего гуманитарные. В Сорбонне он слушает лекции по богословию, в Парижском университете — по истории и философии. Он с жадностью читает произведения выдающихся французских писателей: Корнеля и Малерба, Расина и Буало, Мольера и Фенелона, Декарта и Роллена. Недавний бурсак, он с благоговейным удивлением наблюдает парижскую жизнь: роскошно-разгульную, отчаянно-легкомысленную, полную какого-то судорожного стремления к удовольствиям. Большое впечатление производят на него стихи тех французских поэтов, которые обслуживали подобный образ жизни. В большинстве своем это были мелкие, второстепенные авторы. Однако ж он с увлечением переводит их мадригалы, любовные песни, куплеты, — эту поэтическую «мелочь»,— в то время как большая французская литература почти не затрагивает его художнического сознания: заинтересовывает его как читателя, и только. В Париже Тредиаковский делает перевод аллегорической тальмановой книжки, об успехе которой у петербуржцев (в первую очередь, молодых) уже говорилось.

Это пристрастие раннего Тредиаковского к «массовой» любовно-галантной литературе и эта популярность ее у русской публики показательны. Новый читатель, родившийся в Петровскую эпоху, окруженный «новоманирным» бытом, начинавший жить по законам европеизированного этикета, был готов к восприятию подобной литературы. Более того: он ждал ее. Образ мыслей, его отношение к другим людям были сформированы на основе кодекса поведения, изложенного в некоторых важнейших книгах, изданных и неоднократно переизданных при жизни Петра.

Так, например, книга «Приклады како пишутся комплименты разные» (1708, 1712, 1718), послужившая образцом всех позднейших «письмовников», предлагала при обращении к адресату послания отказываться от челобитья до земли, от превознесения его до небес, от самоуничижения в подписи («твой раб», «холоп», «пес» и т. п.). «Юности честное зарцало» (1717 дважды, 1719, 1723) помимо чисто житейских советов: как вести себя в обществе, за столом и т. д. — преподавало дворянскому читателю и новые уроки сословного достоинства, сословной исключительности, которая отныне состояла не в одной лишь *принадлежности* к привилегированному классу, но прежде всего в *знании* вещей, не доступных остальным людям. «Младые отроки, — гласит один из советов этой книги, — должны всег-

да между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли, и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать». Большую роль в просвещении молодых дворян того времени сыграл сборник «Symbola et emblemata», изданный в 1705 году по личному распоряжению Петра I. Сборник этот включал в себя 840 иллюстраций («эмблем») на мифологические темы с краткими объяснениями («символами»), раскрывавшими смысл изображаемого. Надо сказать, что узкому кругу книжников имена Аполлона, Купидона и других античных богов были известны на Руси задолго до появления названной книги; теперь же греческая и римская мифология прочно входила в сознание рядовых читателей, которых становилось все больше и больше. Русские люди приобретали вкус к условно-аллегорическим выражениям. Становилось признаком хорошего тона говорить о выпившем человеке «принес жертву Бахусу», о влюбленном — «ранен стрелой Купи́до» (то есть Купидона) и т. п.

Поистине Тредиаковский со своим переводом «Езды в остров Любви» пришелся как нельзя более кстати. Герой романа Тирсис, пылающий любовью к прекрасной Аминте, проходит полный курс «галантных» наук, изящную школу воспитания чувств. Добиваясь взаимности от своей возлюбленной, он испытывает поочередно то тревогу, то надежду, то отчаяние, то ревность. Сначала героиня встречает его ухаживания холодно, потом уступает и даже доставляет ему «последнюю милость», но, будучи ветреной, в конце концов изменяет с другим. Путешествуя по вымышленному острову Любви, Тирсис посещает различные его уголки (символизирующие собою разные стадии его чувства к Аминте): Пещеру Жестокости, Пустыню Воспомяновения, Город Надежды, Местечко Беспокойности, Замок Прямой Роскоши, Ворота Отказа и т. п. Вывод, к которому приходит автор в результате эмоциональных злоключений своего героя, — совершенно в духе тогдашней философии «наслаждения»: если хочешь счастья в любви, люби сразу многих женщин и никогда не привязывайся только к одной.

Тредиаковский становится модным автором. Верным признаком литературной сенсации во все времена были скандальные последствия опубликования того или иного

произведения. Не избежал их и переводчик «Езды в остров Любви». Через месяц с небольшим после выхода книги в свет Тредиаковский писал в одном из писем: «Говорят, что я первый развратитель русской молодежи; как будто до меня она не знала прелестей любви... Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мной эти ханжи?.. Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство... Ведь это сволочь, которую в просторечии зовут попами... Подлинно могу сказать, что книга моя вошла здесь в моду» (январь 1731 год; подлинник письма по-французски). Несмотря на негодование духовенства (а может быть, и благодаря ему), популярность Тредиаковского растет: его приглашают в лучшие дома, стремятся с ним познакомиться, услышать другие его сочинения. В 1732 году он был представлен императрице Анне Иоанновне; в том же году его принимают в Академию наук на должность переводчика, а через год ему присваивают звание академического секретаря.

Тредиаковский явился первым на Руси литератором-профессионалом. Он по-своему выразил новое отношение к жизни, новый подход к человеку и его внутреннему миру. Он приобщил русских читателей к галантной европейской литературе. Он по праву считал себя первопроходцем российского стихосложения. На заседаниях переводческого собрания академии (которое сам он называл «Российским собранием») Тредиаковский выступил с широкой программой упорядочения родного языка, создания его литературной нормы. Он планировал сочинение русской грамматики, «доброй и исправной», и составление «дикционария» (словаря) русского языка. Он был полон надежд и решимости претворить все намеченное им в действительность.

Однако действительность — русская действительность в период царствования Анны Иоанновны — роковым образом воспротивилась просветительским начинаниям тридцатидвухлетнего Тредиаковского. Если «Езда в остров Любви» понравилась публике, то обо всех остальных свершениях и замыслах его мало кто знал и еще меньше было тех, кто мог по достоинству их оценить. Вообще середина 1730 годов — это «критическая точка» в духовной биографии Тредиаковского. Здесь завязка его последующей жизненной трагедии — трагедии одинокого человека, выдающегося ученого-филолога, талантливого поэта, европейски образо-

ванного мыслителя, который *не был понят* русским обществом, но который и *сам не понял* русского общества. Объяснимся подробнее, поскольку духовная катастрофа Тредиаковского начиналась если не «на глазах», то уж во всяком случае «вблизи» Ломоносова.

Тредиаковский любил Россию. Находясь в Голландии и Франции, наблюдая политическую жизнь этих государств, присматриваясь к быту голландцев и французов из самых разных сословий, приобщаясь к достижениям европейской культуры, он отмечал про себя разительные отличия между Россией и Западом и со всей энергией и страстью молодости жаждал перемен в русской действительности. Думал о том, что, быть может, как раз ему, бывшему астраханскому поповичу, суждено возглавить просветительское движение у себя в стране, открыть соотечественникам культурные ценности, накопленные Западом в течение многих веков. К тоске по родине, совершенно естественной для человека, оторванного от нее на несколько лет, за границей у Тредиаковского примешивалось грустное чувство иного рода:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны...

Это написано в Гааге. Поэт мысленным взором уносится через всю Европу в свое отечество. Но тут ведь не только ностальгия.

Из Гааги и Парижа многое на родине виделось в новом свете. Если из Астрахани Москва представлялась столицей премудрости, оплотом культуры, то отсюда — с берегов Северного моря или Сены — она казалась двадцатитрехлетнему агенту и приживальщику русских дипломатов провинциальным захолустьем, задворками Европы. Просвещенное голландское купечество выгодно отличалось от русских торговых людей чистым бытом, строгим поведением, сознанием своего достоинства. Парижские аристократы были изысканнее, утонченнее, учтивее московских дворян. Католический аббат, беседующий об искусстве с какой-нибудь маркизой, когда она берет ванну или совершает утренний туалет в своем будуаре, выглядел гораздо импозантнее православного священника, по старинке смотревшего на женщину как на «сосуд греховный», не умевшего поддержать

светский разговор, казавшегося неуклюжим в просвещенном обществе. Если же вдобавок к этому вспомнить настоящую лавину знаний по западноевропейской литературе, философии и искусству, которая обрушилась за границей на восприимчивого Тредиаковского, то можно себе представить, что происходило в его душе — душе недавнего бурсака и провинциала, волею судеб занесенного с азиатской границы русской империи в самый центр европейской цивилизации.

Потрясение было настолько сильным, что даже по возвращении на родину Тредиаковский не переставал «зреть на Россию чрез страны дальны». Здесь-то и находился глубокий внутренний корень его трагедии. Будучи выходцем из церковного сословия (то есть уже своим происхождением поставленный *между* крестьянами и правящим классом), мало интересуясь теми сферами, которые приобретали все больший вес в государстве (промышленность, экономика, естественные науки и т. д.), получив по преимуществу филологическое образование, Тредиаковский имел очень смутное представление о внутренней жизни России, о сущности перемен, происходивших в стране, о том, ради кого и ради чего эти перемены совершались.

Из Франции Тредиаковский вывез в своем сознании идеальную форму государственного устройства и попытался примерить её на Россию: во главе страны должен стоять просвещенный государь, руководствующийся разумными законами, покровительствующий наукам и искусствам (Петр I как недавний живой пример такого монарха); его окружают бескорыстные мудрецы, — «менторы», — которые удерживают первого человека государства от скоропалительных решений, безрассудных актов и т. п., подавая ему благие советы; подданные — сплошь люди образованные, начитанные в мировой литературе, свободные от суеверий, предрассудков и различных запретов, налагаемых всевозможными невеждами и ханжами. Как и положено в просвещенном обществе, отношения в таком государстве строятся на уважении к достоинству каждого человека. Презрен лишь тот, кто невежествен, ибо знания, чтение литературных шедевров облагораживают душу, возвышают и просветляют разум: душа невежды — черства, разум — слеп и низмен.

«Ездой в остров Любви» Тредиаковский начал воспитание русского общества. Сам он, пожалуй, менее всего стре-

мился настроить молодежь на бездумную погоню за наслаждениями. Мысль книжки предельно рационалистична: не давай себя увлечь слепому чувству (здесь: тоске от неразделенной любви), положись на разум и найдешь верный выход — в противном случае любовь, которая должна приносить радость, станет причиною тяжких мучений, может быть, даже причиною разрушения личности. Однако ж, как это довольно часто бывает, автора поняли совсем не так (или не совсем так): запомнили прежде всего совет любить сразу многих. В этом смысле «сволочь, которую в просторечии зовут попами», была права: любить сразу многих — аморально, автор же, ставший причиною соответствующих настроений в обществе, достоин осуждения.

История с переводом галантного романа была первым серьезным указанием Тредиаковскому: Россия — не Франция! И если в 1731 году он еще склонен был потешаться над отечественными «святошами» (глянули бы, мол, на парижских священников — как, мол, они относятся к делам «сладкия любви»), то в дальнейшем его вольнодумство начинает заметно меркнуть.

Предприняв попытку политического и нравственного воспитания власть имущих в соответствии со своими идеалами, Тредиаковский потерпел уже полный крах. Фаворит Анны Иоанновны, бывший ее конюх Бирон, который являлся при ней фактически полновластным правителем России, менее всего нуждался в советах мудрецов, в чтении философских или поэтических сочинений: властью своей он пользовался сам, а библиотеку ему вполне заменяла конюшня. Противник его, кабинет-министр императрицы Артемий Волынский, стремившийся положить конец господству немецкой партии, также мало интересовался нравственными вопросами государственного правления. В той игре, которую вел кабинет-министр, Тредиаковскому не нашлось роли. Волынский видел в нем надоедливого комара, который все время пищит, а о чем — не понятно. Стремления к тому, чтобы стать идеальным государственным деятелем, Волынский не испытывал и размышлять над политической историей древних и новых народов не хотел, а вот сильное желание прихлопнуть «комара» у него однажды явилось. И он чуть было не прихлопнул его до смерти.

Тредиаковский был трижды избит непросвещенным сановником: в первый раз, когда вызванный к Волынскому

для получения приказа написать стихи к знаменитой «дурацкой свадьбе» (она описана в «Ледяном доме» И. Лажечникова), он выразил недовольство тем, как обращался с ним посыльный кадет; во второй раз — в приемной Бирона, куда он направился жаловаться уже на самого Волынского и где случайно столкнулся с последним; и, наконец, в третий раз Тредиаковского нещадно истязали люди Волынского по приказанию своего патрона (все за ту же попытку найти справедливость). Мало того: после чудовищной экзекуции Тредиаковский был посажен в карцер и должен был к утру написать-таки пресловутые стихи, а написав, продекламировать их в тот же день на шутовском действе в «Ледяном доме». И вот он, первый поэт России, мечтавший о благоденствии своей страны под началом мудрых и человеколюбивых правителей, еще не залечив ран от палочных ударов, кое-как припудрив на лице кровоподтеки, вступает в круг шутов и уродцев, собранных, чтобы потешить императрицу, и, совершая над собою актерское усилие, обращается к «молодым»:

Здравствуйте, женившись, дурак и дура...

После *такого* неожиданного поворота в своей просветительской деятельности Тредиаковский был не только обижен, но и растерян. Что касается личной его обиды, то некоторое время спустя судьба отмстила ее (Волынский был арестован в связи с неудавшимся переворотом, подвергнут пыткам и казнен). Растерянность же не проходила. Растерянность, вызванная досадным равнодушием окружающих к тем истинам, которые он старался привить России. Русское общество упорно не хотело перевоспитываться по его советам. Отныне насмешки и оскорбления преследовали Тредиаковского всю жизнь. Временами ему казалось, что существует даже некий заговор, составленный против него завистниками. Жизнь представлялась ему разбушевавшимся морем зла, от которого нет спасения. «Все злые случаи на мя вооружились», — писал он в одной из своих элегий. Его постоянно преследовали житейские невзгоды, он был очень беден, постоянно болел. И несмотря на все это, Тредиаковский, этот «Сизиф русской литературы» (Д. Д. Благой), продолжал свою титаническую работу, направленную на просвещение соотечественников.

Потерпев неудачу как нравственно-политический наставник государственных деятелей, Тредиаковский все свои

силы отдает филологическим исследованиям и литературным трудам, в первую очередь — переводам. Он перевел на русский язык книги, на которых впоследствии воспитывалось не одно поколение читателей: роман шотландского писателя Барклая «Аргенида», роман «Похождения Телемака» Фенелона, получивший в переводе название «Тилемахида» (книга, высоко ценившаяся Новиковым, Фонвизиным, Радищевым, Пушкиным). Почти всю свою жизнь он переводил на русский язык многотомную «Римскую историю» француза Роллена, которая десятилетия спустя после его смерти все еще читалась в самых глухих уголках России.

Но все это — и достойная оценка его деятельности, и читательская «отдача» — было потом. А при жизни... Вот что было при жизни: «Ненавидимый в лице, презираемый в словах, ...прободаемый сатирическими речами, изображаемый чудовищем, оглашаемый (что сего бессовестнее?) еще и во правах, ...всеконечно уже изнемог я в силах... Однако, сколь мысли мои ни помрачнены всегда, но, когда или болезнь моя не столь жестоко меня томит, или хорошее и погодное время настоит, не оставляю того, ...чтобы не продолжать Ролленовых оставшихся Древностей... Когда же перевод утрудит, ...читаю я авторов латинских, французских, польских и наших древних, и читаю их не для любопытства, но для пользы всей России: ибо сочинил я три большие диссертации... Я несправедливо осужден буду, ежели чрез удержание жалования осужден буду умирать голодом и холодом... Итак уже нет ни полушки в доме, ни сухаря хлеба, ни дров полена».

Это из доношения Тредиаковского президенту академии графу К. Г. Разумовскому в 1758 году в ответ на угрозу прекратить ему выплату профессорского оклада. А еще через десять лет, за несколько месяцев до смерти, Тредиаковский писал: «Исповедую чистосердечно, что, после истины, ничего другого не ценю дороже в жизни моей, как услужение, на честности и пользе основанное, досточтимым по гроб мною соотечественникам».

Какая трагическая судьба! Пожалуй, даже у самого черствого человека личность Тредиаковского, этого поистине великого неудачника, не может не вызвать искреннего сострадания. Только раз, только в молодости улыбнулось

ему солнце удачи, а потом вся жизнь — язвительные гримасы и удары судьбы: то кулаком в зубы, то палками по спине... И если здесь зашел столь подробный разговор о Тредиаковском, то лишь потому, что ведь и Ломоносов, который в начале своего творческого пути, по сути дела, шел по его стопам (побег в Москву, Спасские школы, затем заграница и т. д.), — ведь и Ломоносов мог кончить так же, как автор «Езды в остров Любви»... Понять причину неудачливости Тредиаковского — значит понять причину взлета Ломоносова.

Первая (и главная) беда Тредиаковского заключалась, как уже было показано, в его трагической отъединенности от живой русской действительности. Еще в отрочестве, еще живя в Астрахани, он первоначальным воспитанием своим был подготовлен к одностороннему восприятию русской жизни: семнадцати лет он в обучении у капуцинов. Напомним, что в этом же возрасте «младый разум» Ломоносова «уловлен был раскольниками». Вопрос здесь, пожалуй, не в том, кто благотворнее — капуцины или наши беспоповцы — воздействовал на сознание «мудролюбивых российских отроков». Гораздо важнее подчеркнуть то, что католическая школа в Астрахани в течение двух лет погружала восприимчивого поповича в мир духовных ценностей, совершенно чуждых подавляющему большинству населения России, в то время как для юного помора его двухлетнее общение со старообрядцами означало прикосновение к одному из важнейших и больнейших вопросов тогдашней русской жизни, в разрешении которого принимали самое непосредственное участие громадные массы народа: от кабацкого ярыги до высшей знати. Ведь в начале XVIII века проблема раскольничества по-своему отражала коренное противоречие нашей истории, которым история-то и двигалась вперед в ту пору, — противоречие между *старой* и *новой* Россией. И вот то, что Ломоносов с юных лет приобщился к глубинным вопросам отечественной действительности и мучительно искал свой ответ на них (ведь его уход от беспоповцев был самостоятельным актом), — необходимо иметь в виду. Тредиаковский же проходит мимо всего этого.

Но отъединенность Тредиаковского от своей страны, поверхностное знание ее уживались у него с самой искренней и бескорыстной любовью к ней. Пдравда, *неразделенной*. Образ России, утвердившийся в сознании Тредиаковского, —

страны, безнадежно отставшей от западноевропейских государств, не способной своими силами выбраться из культурного «тупика», — этот образ, при всей его внешней похожести на оригинал, отражал действительное положение вещей весьма приблизительно. Россия, только что пережившая бурное время петровских преобразований, менее всего была склонной испытывать чувство «неполноценности» перед Европой. Победы русского оружия над турками, шведами, персами, ускоренное развитие промышленности и наук, пробуждение общественной активности самых разных слоев населения, вызванное новым отношением к человеку, — все это вызывало у русских чувство национальной гордости и вселяло уверенность в высоком историческом предназначении молодой России, по праву занявшей свое место в кругу «просвещенных народов» Европы. Учиться у западных соседей, безусловно, было необходимо. Но учиться — не подчиняясь, а побеждая их (как, например, это было под Полтавой). Учиться — полагаясь на *«свое* разумение», на *свои* ресурсы, учитывая насущные потребности и внутреннюю логику *своего* развития. Только такое «ученье» могло быть плодотворным.

В известном смысле Тредиаковский стал одним из первых «западников» в новой русской истории. Он любил и искренно жалел не Россию, но именно *образ* ее. Программу же позитивных просветительских преобразований ему пришлось внедрять в *конкретную* действительность, которая не совпадала с умозрительным представлением о ней, сформировавшимся у него в голландском или французском «прекрасном далеке». Желание перемен было настолько сильным, что катастрофический разрыв между мечтою и реальностью не то чтобы ускользнул от Тредиаковского, но был в отчаянии проигнорирован им. Так Тредиаковский впал в роковую ошибку всех русских западников, состоявшую, по словам Г. В. Плеханова, в непонимании того, что «различные стороны общественной жизни связаны между собой такою связью, которая не может быть нарушена по усмотрению интеллигенции»[13].

Игнорирование этой связи наложило печать внутренней противоречивости, какой-то досадной непоследовательности почти на все начинания Тредиаковского-просветителя. «Езда в остров Любви», казалось бы, полностью отвечала потребностям эмансипированного русского дворянина, сформировавшегося в эпоху Петра. Но это лишь на первый

взгляд. Раскрепощение сознания, ставшее фактом после Петровских реформ, не только *давало* человеку возможность и моральное право наслаждаться вещами, доселе запретными, но и *требовало* от него принесения обильных жертв на алтарь общественных интересов. Личная свобода зависела от личной заслуги перед государством. «Езда в остров Любви» ставила вопрос лишь о свободе чувств человека, не затрагивая вопроса об его обязанностях перед обществом. Государственной ценности эта галантная книжка не представляла. А в ту пору именно централизованное государство выступало полномочным представителем интересов нации и именно оно выносило оценки. Читательский восторг, который поначалу вскружил Тредиаковскому голову, не был общенациональным откликом.

Половинчатый характер литературно-просветительской деятельности Тредиаковского становится еще более наглядным при обращении к его теории русского литературного языка. За основу языковых преобразований он решил взять речь придворного круга, или «изрядной компании», как он говорил, призывая остерегаться, с одной стороны, «глубокословныя славенщизны», а с другой — «подлого употребления», то есть речи народных низов. Такое решение вопроса Тредиаковскому подсказывала практика французской словесности, где в течение двух веков развитие литературного языка шло именно по линии ограничения, во-первых, церковной латыни (французский аналог старославянского) и, во-вторых, простонародной речи. Но старославянский язык в то время еще далеко не исчерпал своих выразительных возможностей. Возвышенные мысли и чувства русскому образованному человеку гораздо удобнее и привычнее было облекать в форму славянизмов — и деспотически отвергнуть «глубокословную славенщизну» значило расписаться в непонимании важнейших сторон духовной жизни своих соотечественников. Несостоятельным оказался и расчет Тредиаковского на отказ от просторечных, «низких» выражений; они были употребительны не только в «подлом народе», но и в «изрядной компании». Можно смело утверждать, что в России начала XVIII века особого языка высшей аристократии, который был бы отделен глухой стеной от языка простолюдинов (как это имело место во Франции),— не существовало. Следовательно, не существовало реального фундамента, на котором Тредиаковский собирался возвести здание своей языковой

теории. Он только привлек внимание к самой проблеме, указал на ее важность — решать же ее пришлось Ломоносову, что тот и сделал двадцатилетие спустя после первых выступлений Тредиаковского в Российском собрании. Мечты последнего о создании грамматики «доброй и исправной» воплотились в ломоносовской «Российской грамматике» (1755). Что же касается литературной нормы русского языка, то эта сложнейшая проблема с блеском была решена Ломоносовым в его гениальной теории «трех штилей», на многие десятилетия вперед определившей развитие русского языка и литературы. Само название работы, где излагались основные положения этой теории, звучит весьма знаменательно — «О пользе книг церьковных в российском языке» (1759). В ломоносовском подходе к вопросу должное внимание уделено и просторечию и славянизмам. Под влиянием Ломоносова и Тредиаковский со временем изменил свое отношение к старославянской лексике. Однако ж гармонического слияния языка церковных книг со словами исконно русскими (что ставилось в особую заслугу Ломоносову Пушкиным) в творчестве Тредиаковского не произошло.

Обладая поразительным чутьем на актуальные проблемы культурного развития, Тредиаковский в подавляющем большинстве случаев не умел плодотворно развить свои догадки. У него был книжный склад ума. Он был склонен «подправлять» предмет, приписывать ему что-либо от себя, а навязав ему те или иные черты,— считать, что черты-то эти вроде бы с самого начала принадлежали предмету его размышлений. Так было с его отношением к России, к ее языку. Так было и с его теорией русского стихосложения (ср. догматические утверждения о том, что лишь хорей близок строю русского языка, что у нас только женские рифмы имеют право на существование и т. д.).

Ломоносов оказался гораздо практичнее и объективнее: он всегда шел от предмета к умозаключениям, а не наоборот. Он понял, что поэтический переворот интересен не сам по себе, но как часть коренных перемен во всем укладе русской жизни. Перемены же эти сводились, прежде всего, к возрастанию роли абсолютистского государства, крепкой монархической власти. Надо думать, что и Тредиаковский понимал социальную сторону происходящих перемен, но понимал узко, ограниченно, не видел единого корня, питавшего одними соками и политическую и поэтическую ветви

русской жизни. Вот почему четыре года спустя после Тредиаковского именно Ломоносов оказался творцом «державного ямба», и поныне самого популярного размера в русской поэзии.

Жизнь и творчество Тредиаковского буквально сотканы из противоречий. Энциклопедически образованный ученый, культурно стоящий неизмеримо выше своего окружения, прекрасно знающий себе цену и не лишенный честолюбия, он робок до раболепия в отношении с окружающими (даже с равными себе по чину он склонен к угодничеству). Идеолог просвещенной части русского общества, дерзающий давать «уроки царям», он подносит эти «уроки» Анне Иоанновне, подползая к ней на четвереньках и держа оду в зубах; характерные знаки внимания, оказываемые ему императрицей, с благоговением называет «всемилостивейшими оплеушинами». Бедный плебей по происхождению, он в своем творчестве делает ставку на то, что поэзия есть недоступная простым смертным область духа, некий «язык богов», и в полном соответствии с этой установкой пишет стихи вычурным слогом, в котором подчас совершенно варварски перемешаны несоединимые элементы языка,— обрекая таким образом большую часть своих произведений на глухое забвение у современников и потомков. Сознавая себя просветителем России, творцом ее новой культуры, он почти не создает оригинальных сочинений и обрушивает на читателей целую лавину переводов, не без гордости заявляя при этом: «Приходит на мысль, не возревновал бы кто в уничижение мне, что видит от меня больше переводов, нежели моих собственных сочинений. Но такому и подобным всем почтенно в предварительный ответ доношу, что во мне знатно более способности, буде есть некоторая, мыслить чужим разумом, нежели моим».

Было бы несправедливо оспаривать больше просветительское значение переводов Тредиаковского. Но главной задачей, которую выдвигала история перед русскими писателями в 1730—1740 годы, было создание своей собственной литературы, в которой бы нашли свой отклик и оправдание титанические усилия нации, направленные на выработку новых культурных ценностей, новой государственности, нового жизненного уклада. Для выполнения этой задачи русским писателям мало было способности «мыслить чужим разумом». Необходим был вкус к самобытному мышлению, необходимо было умение постигать природу

происходящего, улавливать *сущность* вещей и их отношений. Тредиаковский в этом смысле был не на уровне выдвигаемых задач.

Ровно сто лет назад Достоевский поделился со своими читателями вот каким размышлением: «...Величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество, и наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, не доставало одного только последнего дара — именно: *гения*, чтобы управить всем богатством этих даров и всем могуществом их,— управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества — на свист и смех и на побиение камнями единственно за то, что те, в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их *новое слово*, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил — может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...»[14].

Тредиаковский, при всей своей одаренности, не получил «последнего дара» — гения, при всем богатстве своих познаний, не сумел «прозреть в истинный смысл вещей» и был обречен «на свист и смех и на побиение камнями» — и все это действительно было очень грустно.

Ломоносов в поэзии и в филологии шел по пятам Тредиаковского и уже в силу этого был избавлен от многих ошибок своего неудачливого предшественника. Но главное отличие заключалось в другом: он обладал завидным даром за оболочкою видеть ядро явления — даром, на удивление рано проявившимся.

В 1736 году Тредиаковский еще не подозревал о своих будущих несчастиях, еще полон был обманчивой уверенности в непогрешимой правоте своих замыслов и свершений, а двадцатипятилетний помор, державший в руках «Новый

и краткий способ», уже понимал, в чем состояли просчеты его автора, и готов был к тому, чтобы несколькими гениальными мазками довершить картину поэтического переворота, начатую его старшим собратом по искусству и науке. Но обстоятельства не позволили ему сделать это в Петербурге.

В то самое время, когда Ломоносов заполнял поля книги Тредиаковского репликами (частью на русском, частью на латинском языке) и аккуратно ходил на занятия к Крафту и Адодурову, в Сибири работала академическая экспедиция по комплексному изучению этого девственного края. Участники экспедиции трудились уже довольно долго и небезуспешно. Однако они испытывали значительные затруднения из-за отсутствия в ее составе химика, хорошо знающего горное дело. В 1735 году из Сибири в Петербург пришло доношение с просьбой о командировании такового в распоряжение экспедиции. Барон Корф попытался снестись с западноевропейскими химиками: но желающих совершить вояж в десять с лишком тысяч верст не оказалось. Тогда-то «главный командир» и решил, по совету саксонского химика И.-Ф. Генкеля (1679—1744), направить на выучку в Германию трех русских студентов.

Выбор пал на Ломоносова, Дмитрия Виноградова (1720—1758), «поповича из Суздаля», прославившегося впоследствии созданием русского фарфора, и Густава Райзера (род. в 1719 г.), сына горного советника и президента Беркголлегии. 19 марта 1736 года им было объявлено, что они «отправляются по именному указу в Германию для обучения натуральной истории».

4

Мы любим все: и жар холодных числ
И дар божественный видений.
Нам внятно все: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Блок

Сначала Ломоносову, Виноградову и Райзеру предстояло пройти общетеоретическую подготовку в Марбургском университете у профессора Христиана Вольфа (1679—1754),

выдающегося немецкого просветителя, известного философа и видного ученого, в меру талантливого и дерзкого в своих выводах, но исключительно эрудированного. Достаточно сказать, что он вел в Марбурге высшую математику, астрономию, алгебру, физику, оптику, механику, военную и гражданскую архитектуру, логику, метафизику, нравственную философию, политику, естественное право, право войны и мира, международное право, географию. Кроме того, он углубленно занимался проблемами эстетики и психологии.

Надо сразу же оговориться, что ни в одной из перечисленных областей Вольф не сумел сказать принципиально нового слова, да, пожалуй, и не стремился к этому. Свою главную задачу он видел в систематизации уже накопленного европейской мыслью знания и в возможно более широком его распространении. Вольф популяризовал идеи своего гениального предшественника в философии и естествознании Готфрида-Вильгельма Лейбница (1646—1716). Он воспитал ряд крупных немецких ученых. Он много сделал для Петербургской Академии наук: переписывался с Петром I, вел переговоры с видными европейскими учеными в целях привлечения их к работе в молодом научном обществе. Во многом благодаря именно его энергичному содействию русская академия не стала скопищем карьеристов и проходимцев типа И.-Д. Шумахера (о котором речь впереди), а была укомплектована первоклассными научными силами в лице Н. и Д. Бенулли, Я. Германа, Г. Бильфингера и др.

При всем том Вольф не был бессребреником, рыцарем науки, пылавшим к ней только платонической страстью. Когда из России ему пришло приглашение занять пост президента будущей академии, он запросил себе непомерный оклад жалованья в 20 000 золотых рублей ежегодно (что, как мы помним, равнялось сумме первоначальной сметы на устройство всей академии). Однако ж, с его стороны, это менее всего выглядело стяжательством, алчностью и т. п. Просто он, со свойственной ему педантичностью, рассчитал и взвесил все «за» и «против» (свою европейскую известность и тот объем «черновой» работы, которую пришлось бы ему выполнять, став во главе только еще начинающегося дела; свои собственные научные интересы и объективные потребности молодой академии, которые могли не совпадать; свои уже немолодые годы и хлопоты с пере-

ездом, капризы петербургской погоды, их возможное влияние на здоровье...). А рассчитав и взвесив, он решил, что лишь означенная сумма способна окупить его труды на новом посту. Когда же выяснилось, что при всей своей тяге к наукам «Россия молодая» не захотела выделить просимое (что вполне понятно), Христиан Вольф — и это показательно — с тою же педантичностью, с какою он подсчитывал сумму своего оклада, продолжал выполнять различные просьбы русского правительства по академическим делам. Иными словами, Вольф знал себе цену, но он не был своекорыстен и был готов помочь доброму начинанию по мере сил.

Вместе с тем он обладал мягким и отзывчивым сердцем, прекрасно знал психологию студентов, умел понять их потребности (зачастую далекие от науки) и терпеливо, без лишней горячности, как и положено доброму и опытному наставнику, направлять силы молодой души на благие цели.

30 августа 1736 года академик Крафт, руководивший занятиями Ломоносова в Петербурге, отправил Христиану Вольфу письмо, в котором писал, что к нему в Марбург посылаются «трое прекрасных молодых людей».

Получив от академии строгую учебную и дисциплинарную инструкцию, рекомендательные письма к Вольфу, а также по триста рублей на путевые расходы и проживание в Марбурге, Ломоносов, Райзер и Виноградов 8 сентября отплыли из Петербурга на корабле «Ферботот». Около двух суток корабль безуспешно боролся с непогодой в Финском заливе, и 10 сентября «трое прекрасных молодых людей» вернулись в столицу. 19 сентября «Ферботот» вновь покинул петербургский порт и на этот раз дошел до Кронштадта, где Ломоносов и его товарищи провели в томительном ожидании еще несколько суток. Наконец 23 сентября корабль взял назначенный курс на запад. Через пять дней прошли мимо Ревеля, еще через пять — миновали остров Готланд, а 16 октября прибыли в Травемюнде и ступили на землю Германии.

...Позади осталось Балтийское море, позади — существование впроголодь, позади «пустые словопрения Аристотелевой метафизики», в кошельке — «жалованье в сорок раз против прежнего», в душе — надежда, что истина на

этот раз не обманет, и почтовые лошади несут его к «мужу славнейшему» Христиану Вольфу, а перед глазами — незнакомые города: Гамбург, Ниенбург, Минден, Ринтельн, Кассель...

Третьего ноября 1736 года Ломоносов прибыл в Марбург. Марбургский университет, основанный в 1572 году, ко времени прибытия туда Ломоносова был одним из крупнейших учебных заведений Европы. Наплыв студентов из различных немецких земель, а также из-за пределов Германии самым непосредственным образом сказывался на повседневной жизни старинного гессенского городка.

По вечерам, после окончания занятий, разноязыкая толпа «буршей» с шумом заполняла узкие улочки и небольшие площади Марбурга. Там книгопродавец открывал свою лавку с томами ученой латыни на полках; там парикмахер-француз зазывал к себе молодых модников, предлагая новый парик или какую-нибудь особенную пудру; там еврей-процентщик караулил должников или сам спасался бегством, преследуемый студенческой шпагой; там веселая компания врывалась в харчевню и устраивала изрядную попойку с битьем посуды и бурным выяснением отношений, которое заканчивалось, судя по накалу страстей и количеству выпитого, — либо благородной дуэлью на улице, либо плебейской дракою тут же, на глазах у хозяина, ко всему привыкшего; там профессорская дочка, уже потерявшая надежду выйти замуж, поджидала к себе обожателя с очередного отцовского курса в то время, как сам отец по иронии судьбы был занят с коллегой ученым спором о предустановленной гармонии, доказывая целесообразность всего происходящего на свете; а там почтенный отец семейства, какой-нибудь продавец сукон или зеленщик, помолившись на ночь, приказывал слугам хорошенько проверить ставни и вооружиться на случай, если подвыпившие студенты по ошибке или с умыслом вздумают штурмовать его домашнюю крепость... Таковы были житейские издержки той известности, которой Марбург пользовался как университетский город.

Может быть, именно об этих издержках и шел разговор во время первой беседы Вольфа с русскими студентами, состоявшейся сразу по их прибытии на место.

Вручив своему преподавателю рекомендательные письма и выслушав его наставления, молодые люди с похваль-

3 Заказ 1297

ным усердием принялись устраивать свои дела. Обговорили с марбургским доктором медицины Израэлем Конради условия, на которых тот согласился посвятить «московских студентов» в теоретическую и практическую химию: за сто двадцать талеров он должен был прочесть им соответствующий курс лекций на латинском языке. Однако уже через три недели, двадцать пятого ноября, Ломоносов вместе с Виноградовым и Райзером отказались от услуг И. Конради, который, по их согласному мнению, был плохим учителем и «не мог исполнить обещанного». С января 1737 года лекции по химии они стали слушать у профессора Юстина-Герарда Дуйзинга (1705—1761). Механику, гидравлику и гидростатику читал им сам Вольф. Помимо общих лекций у каждого студента были намечены занятия по индивидуальному плану. Так, Ломоносов вместе с Виноградовым, в дополнение к сказанному, брал еще уроки немецкого языка, арифметики, геометрии и тригонометрии, а с мая 1737 года начал заниматься французским и рисованием.

Вот как выглядел обычный студенческий день Ломоносова в Марбурге (на основании его рапорта в Академию наук от 15 октября 1738 года): утром с 9 часов до 10 — занятия экспериментальной физикой, с 10 до 11 — рисованием, с 11 до 12 — теоретической физикой; далее — перерыв на обед и короткий отдых; пополудни с 3 до 4 часов — занятия метафизикой, с 4 до 5 — логикой. Если сюда добавить уроки французского языка, фехтования, танцев, а также самостоятельную работу Ломоносова в области теории русского стиха (книжку Тредиаковского он взял с собой в Германию и продолжал ее критически изучать), если учесть, что круг его чтения неизмеримо расширился в это время, — то огромная загруженность Ломоносова в Марбурге станет очевидной.

Большая учебная нагрузка сама по себе не представляла для Ломоносова непреодолимой трудности. Он занимался легко и споро. В письмах к барону Корфу Вольф постоянно выделяет Ломоносова среди других студентов: «У г. Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова между ними...», «Более всего я еще полагаюсь на успехи г. Ломоносова...»

Трудности для Ломоносова в Германии были, но не профессионального, а скорее житейского свойства. Правда, недостатка в средствах на первых порах посланцы из Петер-

бурга не испытывали. По отношению к Ломоносову и Виноградову тут даже следует говорить об известном избытке средств, если вспомнить их «славяно-греко-латинскую» стипендию — десять рублей в год. Однако увеличение содержания, как это ни удивительно, усложнило жизнь молодых людей. Не забудем, что к моменту прибытия в Марбург Ломоносову не было полных двадцати пяти лет, Райзеру едва исполнилось двадцать; а Виноградову — девятнадцать. В этом возрасте, когда нет нужного житейского опыта, когда отсутствуют элементарные навыки в устройстве собственного быта, испытание материальным достатком, пожалуй, сложнее, чем испытание бедностью. Умения же экономно тратить деньги нашим студентам (и Ломоносову в том числе) не всегда хватало.

Получив в июле 1736 года триста рублей, Ломоносов еще до приезда в Марбург успел истратить более трети этой суммы: отдал старый московский долг своему земляку куростровцу Пятухину («до семи рублей»), часть денег была прожита в Петербурге, часть пошла на уплату по путевым расходам до Германии. Остаток в двести рублей, переведенный в немецкую валюту (один рейхсталер равнялся восьмидесяти копейкам) согласно финансовому отчету, посланному Ломоносовым в Петербург 26 сентября 1737 года, был израсходован следующим образом:

От Любека до Марбурга	37 т.
Один костюм стоил	50 т.
Дрова на всю зиму	8 т.
Учитель фехтования — на первый месяц .	5 т.
Учитель рисования	4 т.
Учитель французского языка	9 т.
Парик, стирка, обувь, чулки	28 т.
Учитель танцев за пять месяцев . . .	8 т.
Книги	60 т.
Сумма	209 т [алеров]

Следует отметить, что академическая канцелярия не доплатила студентам из их жалованья за 1736—1737 учебный год по сто рублей каждому (на одного человека определено было выдавать четыреста рублей ежегодно). Однако дальнейшие отчеты Ломоносова показывают, насколько непрактичен (а возможно, и беспечен) он был в расходовании де-

нег. Если с ноября 1737 года по март 1738-го Ломоносов сумел уложиться в сумму, высланную академией (двести рублей), то с апреля 1738 года по декабрь включительно он не только успел растратить полученные в июле сто двадцать восемь талеров (сто рублей), но и наделать уйму долгов, которые к 30 декабря того же года, то есть через девять месяцев, составили цифру, намного превысившую полагавшееся ему годовое содержание. Примерно столько же задолжали и Райзер с Виноградовым.

Вольф довольно скоро заметил неладное и искренне обеспокоился финансовым положением, в котором оказались его подопечные. В письме в академическую канцелярию он просил напомнить Ломоносову, Виноградову и Райзеру, чтобы они были более бережливыми и остерегались делать долги. Вскоре они получили инструкцию от академии, где в частности предлагалось «учителей танцевания и фехтования» «более не держать», «не тратить деньги на наряды», не делать долгов и обходиться в пределах назначенной им годовой стипендии. По-видимому, молодые люди не во всем следовали присланной инструкции, и в октябре 1738 года «главный командир» академии в специальном приказе объявил Ломоносову, Виноградову и Райзеру выговор, потребовав немедля представить «правильный перечень сделанных ими долгов», «впредь не делать более долгов без ведома и согласия» Вольфа и «во всем строго следовать его увещаниям и указаниям».

В то самое время, когда барон Корф в Петербурге подписывал выговор студентам, барон Вольф в Марбурге готовил к отправке в Россию их очередные счета и писал в сопроводительном письме: «Не могу поручиться, действительно ли они уплатили все, что у них показано по счету, потому что учитель фехтования один требует с них еще 66 флоринов, а у книгопродавца также еще большой счет. Им не хочется, чтобы долги их стали известны».

То, что Ломоносов мог задолжать книгопродавцу, — понятно: этот долг вполне увязывается с нашим представлением об «архангельском мужике», тянувшемся к знаниям. Но фехтование, танцы, наряды... Чтобы Ломоносов наделал долгов из-за подобных пустяков? Такое как-то не укладывается в голове. Между тем это довольно правдоподобно. Во-первых, Ломоносов должен был платить дань этикету, а во-вторых, у него, думается, были к тому и сугубо личные причины. И вот почему.

Через несколько дней после прибытия в Марбург Ломоносов поселился на жительство в доме одной вдовы. Звали ее Екатерина-Елизавета Цильх. Покойный муж ее, Генрих Цильх, был человеком уважаемым и солидным — пивоваром, членом городской думы и церковным старостой. Их дочери Елизавете-Христине в начале ноября 1736 года было шестнадцать лет. Девушка приглянулась двадцатипятилетнему студенту. Не исключено, что желание понравиться юной Лизхен, сделать ей приятное — это вполне понятное в молодом человеке желание и заставляло Ломоносова так часто прибегать к услугам портных, парикмахеров и танцмейстеров, возможно, делать подарки своей возлюбленной (то есть тратить деньги по таким статьям, какие ни одна академическая канцелярия предусмотреть не могла).

Отношения Ломоносова с дочерью квартирной хозяйки не были мимолетной интрижкой. Это серьезное чувство, откликнувшееся и в его творчестве. В августе 1738 года после некоторого перерыва он вновь начал писать стихи. И вряд ли случайно то, что первый поэтический опыт его в Марбурге (перевод оды, приписывавшейся древнегреческому поэту Анакреону) был посвящен воспеванию «нежности сердечной»:

Хвалить хочу Атрид,
Хочу о Кадме петь,
А гуслей тон моих
Звенит одну любовь.
Стянул на новый лад
Недавно струны все,
Запел Алцидов труд,
Но лиры тон моей
Поет одну любовь.
Прощайте ж нынь, вожди,
Понеже лиры тон
Звенит одну любовь.

Почти четверть века спустя в «Разговоре с Анакреоном» Ломоносов вернется к этому переводу, переработает его и по-иному отнесется к «вождям». Но теперь, в Марбурге, когда перед его глазами каждый день стоит «младой и свежий» облик Елизаветы-Христины, в душе будущего певца «геройских дел» царят покой и любовь, он не спорит с автором оды и вслед за ним отказывается петь хвалу героям Трои, легендарному основателю Фив и великим подвигам Геракла.

Мягкой вместо мне перины
Нежна, зелена трава;
Сладкой думой без кручины
Веселится голова.
Сей забавой наслаждаюсь,
Нектарем сим упиваюсь,
Боги в том завидят мне...

Это не Державин. Это перевод из Фенелона, сделанный Ломоносовым в Марбурге в 1738 году. Для него на какое-то время исчезли все желания на свете, кроме желания безмятежного счастья в любви. Он пишет о том, как приятно рвать цветы высоко в горах, как весело скачут по лугам ягнята, когда заря начинает

Сыпать по траве зеленой
Злато, искры и огни.

В блаженную страну, где тихий ветер колышет верхи деревьев и волнует колосящуюся ниву, где пастухи на фиалковых полянах пляшут под звуки волынок и флейт, где поют птицы и льются потоки вина, где «всегда погода ясна», где можно «без книги почерпати» «саму истину», — в этот очарованный край неги и наслаждения нет доступа честолюбивым помыслам:

Сердце,— радостно при лире,—
Не желая чести в мире,
Счастье лишь одно поет.

...Однако ж утехи любви, безмятежная радость на лоне природы недолго владеют душою Ломоносова. Страсть к познанию остается главнейшей его страстью. Он тратит последние свои сбережения и делает новые долги на покупку научной и художественной литературы. С апреля по первую половину октября 1738 года он приобретает около семидесяти томов различных книг на латинском, немецком и французском языках.

Здесь фундаментальные труды по химии и физике, философии и математике, работы по горному делу и медицине, гидравлике и логике, анатомии и географии. Особый интерес представляют здесь пособия по иностранным языкам: «Латинский лексикон» Фабра в двух томах (Лейпциг, 1735), «Сокращенное изложение всей латыни» (Иена, 1734), «Новая королевская грамматика французского языка» (Берлин, 1736), «Итальянская грамматика» Венерони (Франк-

фурт, 1699). Усовершенствуясь в латыни, Ломоносов активно стремится к овладению французским (что было предусмотрено программой обучения) и итальянским (уже по собственной инициативе).

Внушителен список художественной литературы, купленной Ломоносовым в это время. Из античных авторов здесь представлены греки Анакреон и Сафо, римляне Вергилий, Сенека (трагедии), Овидий (полное собрание), Марциал (эпиграммы), из новых авторов — голландец Эразм («Разговоры», «Похвала глупости»), француз Фенелон («Похождения Телемака»), англичанин Свифт («Путешествия Гулливера», по-немецки), немец Гюнтер (стихотворения). Кроме того, сюда следует присовокупить «Избранные речи» Цицерона, «Письма» и «Панегирик» Плиния Младшего, а также «Мифологический Пантеон» Помея, «Избранные и лучшие письма французских писателей, переведенные на немецкий язык» (Гамбург, 1731), «Вновь расширенное поэтическое руководство, то есть кратко изложенное введение в немецкую поэзию» Гюбнера (Лейпциг, 1711) и др.

Ломоносов настойчиво расширяет свой кругозор, — не только естественнонаучный, но и общий, — как будто угадывая, что высокая культура, основательная эрудиция в самых разных науках служат залогом успешного продвижения вперед в любой специальной области.

Книги в ту пору стоили очень дорого. Утоляя свою страсть к знаниям, Ломоносов, кажется, забывает об этом — и к февралю 1739 года, то есть к моменту женитьбы, долг молодого супруга Елизаветы-Христины составил весьма значительную сумму. 10 января 1739 года Ломоносов направил в академическую канцелярию следующий список своих кредиторов в Марбурге и соответствующий счет долгам:

	Р[уб.]
Рименшнейдеру	199
Вираху	141
Аптекарю Михелису	61
Учителю французского языка Раме . .	22
Книгопродавцу Миллеру	10
Портному	10
Учителю танцев	5
Мамфорту	6

Башмачнику	15
Учителю фехтования	8
Всего	477

Скажут: «аптекарю Михелису» Ломоносов задолжал больше, чем «книгопродавцу Миллеру», а долг портному равен долгу в книжной лавке, — где ж тут страсть к книгам? Но ведь был еще некто Рименшнейдер, был Вирах — несомненно, ростовщики, у которых он взял около трех с половиной сотен рублей, чтобы львиную долю из этой суммы снести торговцу книгами и несмотря на это остаться еще перед ним в долгу... Так или иначе, девятнадцатилетняя Елизавета-Христина получила себе в мужья человека гениально одаренного, увлекающегося, до самозабвения преданного любимому делу и на редкость непрактичного в быту.

К тому же не прошло и пяти месяцев после женитьбы, как ей, уже готовившейся стать матерью, пришлось расставаться с ним.

Курс обучения у Вольфа подошел к концу. Еще в мартовском (1739) указе академической канцелярии Ломоносову, Виноградову и Райзеру говорилось, «чтоб они к отъезду из Марбурга готовились и около Троицына дни в нынешнем лете в саксонскую землю в Фрейбург для изучения металлургии ехали». К середине лета все дела в Марбурге были приведены к удовлетворительному для русских студентов завершению: получены свидетельства об успехах в обучении от марбургских профессоров и (пожалуй, не менее важное) деньги для уплаты долгов от Петербургской академии.

9 июля, в шестом часу утра, Ломоносов со своими товарищами отправился во Фрейберг. Вот описание их отъезда из Марбурга, принадлежащее Вольфу. Оно дает несколько дополнительных штрихов к их групповому портрету и свидетельствует о том, что Ломоносов, разделяя с Виноградовым и Райзером многие из увлечений, свойственных молодости, оставался верным главной своей страсти — страсти к наукам — и был способен на самое искреннее и непосредственное раскаяние:

«Студенты... сели в экипаж у моего дома, причем каждому, при входе в карету, вручены деньги на путевые издержки. Из-за Виноградова мне пришлось еще много хлопотать, чтобы предупредить столкновения его с разными студентами, которые могли заметить его отъезд. Ломоносов также еще выкинул штуку, в которой было мало проку и которая могла только послужить задержкою, если бы я, по теперешнему своему званию проректора, не предупредил этого. Затем мне остается только еще заметить, что они время свое провели здесь не совсем напрасно. Если, правда, Виноградов, со своей стороны, кроме немецкого языка, вряд ли научился многому, и из-за него мне более всего приходилось хлопотать, чтоб он не попал в беду и не подвергался академическим взысканиям, то я не могу не сказать, что в особенности Ломоносов сделал успехи и в науках: с ним я чаще беседовал, нежели с Райзером, и его манера рассуждать мне более известна. Причина их долгов обнаруживается лишь теперь, после их отъезда. Они через меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Пока они сами были еще здесь налицо, всякий боялся сказать про них что-нибудь, потому что они угрозами своими держали всех в страхе. Отъезд их освободил меня от многих хлопот... Когда они увидели, сколько за них уплачивалось денег, и услышали, какие им делали затруднения при переговорах о сбавке, тогда только они стали раскаиваться и не только извиняться передо мною, что они наделали мне столько хлопот, но и уверять, что они впредь хотят вести себя совершенно иначе и что я нашел бы их совершенно другими людьми, если бы они только ныне явились в Марбург... При этом особенно Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова».

Дорога во Фрейберг заняла пять суток. Ломоносову было над чем поразмыслить. Опытный наставник молодежи (как мы помним, специально занимавшийся психологией), Вольф почел за наиболее действенную воспитательную меру не прямое назидание студентам, а уплату долгов кредиторам в присутствии молодых людей — с тем, чтобы они наглядно убедились в непозволительных размерах своего расточительства, вполне прочувствовали пагубные финансовые последствия их «разгульной жизни». Урок был преподан серьезный и тактичный одновременно: без лишних слов, щадя молодое самолюбие. Очевидно, в своей педагогической практике Вольф постоянно применял этот принцип

строгой доброты. Ломоносов на всю жизнь остался признателен марбургскому профессору не только за его талантливые лекции по физике, но и за его чуткую взыскательность. Пятнадцать лет спустя после описываемых событий в письме к другому, действительно великому, ученому — Леонарду Эйлеру, — говоря о своем несогласии с одной философской теорией, нашедшей себе солидного проповедника в лице Вольфа, Ломоносов заметит следующее: «Хоть я твердо уверен, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, однако я боюсь омрачить старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть...»

Бергфизик Генкель, к которому направлялись Ломоносов, Виноградов и Райзер, был прямой противоположностью Вольфу: уступал в широте научных интересов, обладал тяжелым характером и отличался мелочным деспотизмом в общении со своими студентами. Печатные труды ученого, как это ни странно на иной взгляд, многое говорят о его личности. Академик В. И. Вернадский, в свое время подробно изучивший работы Генкеля по горному делу, созданные до 1739 года, писал: «В это время Генкель был уже стар, и лучшая пора его деятельности давно прошла... Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, сделавший, однако, ряд верных частных наблюдений, выросший на практической школе пробирера и металлурга. Таков же был и характер его минералогических работ, главные из которых были изданы лет за пятнадцать до посещения его Ломоносовым. В них нет свежей мысли, в них совсем не видно строгого систематического ума, а виден кропотливый собиратель фактов без критической их оценки, который не может выбиться из рамок схоластики. Даже свои открытия он излагал таким языком и придавал им такой вид, что скрывал их живое, сущее. Огромная масса его наблюдений, опытность в отдельных практических вопросах, соединенная с суеверием ученого ремесленника, полное непонимание всего нового или возвышающегося над обычным — таковы характерные черты его научных работ»[15].

К этому-то человеку (который по иронии судьбы подал самую мысль об отправке трех русских студентов за море) **14 июля 1739 года прибыли Ломоносов, Виноградов и Рай-**

зер. Генкель сразу же потребовал от всех троих беспрекословного подчинения своим указаниям (от учебных до житейских — вплоть до того, где и за сколько снимать квартиру и т. п.). Надо сказать, что диктаторское рвение бергфизика было подстегнуто соответствующими сведениями из Петербурга о поведении «троицы» в Марбурге. Кроме того, из Петербурга сообщали, что студентам вдвое уменьшено годовое содержание и что деньги отныне высылаются на имя Генкеля, который должен будет выдавать их на руки своих подопечных небольшими суммами. Фрейбергский профессор видел в молодых людях, приехавших к нему, прежде всего, любителей веселой и легкой жизни, за которыми нужен особенно строгий глаз.

Ломоносов был о себе другого мнения. Да, согрешил. Но прошел через горнило раскаяния. И потом: эти «отвращающие от наук пресильные стремления» не возымели и не могли возыметь над ним полной власти. Он уже не юноша, ему без малого двадцать восемь лет. За два с лишком года, проведенные в Марбурге, он успел много сделать. К моменту встречи с Генкелем он уже превратился из студента в исследователя, чье сознание тревожили покуда смутные, но уже грандиозные догадки. Он был автором двух физических диссертаций, направленных в Петербург: «Работа по физике о превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения предшествующей жидкости» (октябрь 1738) и «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпусул» (март 1739). Уже в этих научных работах проступают очертания его гениальной теории о кинетической природе тепла.

Его успехи в химии засвидетельствовал марбургский профессор Дуйзинг: «Что весьма достойный и даровитый юноша Михаил Ломоносов, студент философии, отличный воспитанник ея императорского величества государыни императрицы Всероссийской, с неутомимым прилежанием слушал лекции химии, читанные мною в течение 1737 года, и что, по моему убеждению, он извлек из них немалую пользу, в том я, согласно желанию его, сим свидетельствую». Он привез с собою во Фрейберг авторитетное свидетельство Вольфа, которое не нуждается в комментариях: «Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенной любовью старался при-

обретать основательные познания. Ни сколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю».

Кроме того, как мы знаем, Ломоносов еще в Марбурге приобрел несколько книг по горному делу — то есть он заранее начал готовить себя по предмету Генкеля!.. Он действительно был в праве рассчитывать на то, что Генкель увидит в нем не школяра, а хотя бы младшего коллегу.

Сначала отношения Ломоносова с его новым учителем складывались вполне сносно. Генкель вел занятия. Ломоносов их исправно посещал. Читал соответствующую литературу, работал в химической лаборатории, спускался во фрейбергские рудники. Генкель точно следовал инструкциям академической канцелярии относительно бюджета русских студентов: выдавал им на руки не более десяти талеров в месяц, сам нанимал учителей для них, сам покупал им даже верхнюю одежду (чтобы избежать долгов, как это было в Марбурге). Так, в августе 1739 года Ломоносов получил специально сшитое для него по заказу Генкеля новое платье стоимостью сорок два талера четыре гроша, в сентябре — плисовый китель и четыре холщовые рубашки на девять талеров одиннадцать грошей, в октябре — башмаки и туфли и т. д.

Резкое сокращение денежного содержания само по себе, а также система мелочной опеки, оскорбительных выдач жалованья «натурою», холодный педантизм и высокомерие Генкеля в обращении со студентами — все это вместе взятое у Ломоносова, человека открытого и непосредственного, начинало вызывать протест, нараставший день ото дня. На основании каких-то известных ему фактов он даже заподозрил Генкеля в утаивании части студенческого жалованья. Однако до поры Ломоносов умел подавить в себе раздражение: ведь в конце концов он приехал в Германию не для того, чтобы рядиться со здешними профессорами, а чтобы учиться у них. Только тогда, когда он убедился, что Генкель «не додает» ему самого главного — знаний! — Ломоносов пошел на открытый разрыв, а точнее сказать: взрыв.

«Взрыв» этот произошел в химической лаборатории Генкеля в середине декабря. Поводом послужило унизи-

тельное, как считал Ломоносов, задание, данное ему Генкелем: заняться растиркой сулемы. По существу Ломоносов был прав. Генкель рассматривал свое поручение как педагогическую меру. Его главной и единственной целью было «сбить спесь» с самолюбивого русского «выскочки», который своими вопросами на занятиях, своим открыто высказываемым недовольством учебной программою (Ломоносов требовал, чтобы студентам давали более сложные задания) давно уже раздражал педантичного бергфизика. Оскорбительная форма, в которой Генкель решил поставить Ломоносова «на место», по мнению профессора, должна была принести незамедлительные и благотворные плоды (в связи с этим уместно вспомнить, как тактично добивался педагогического эффекта Вольф, как умело и с какой доброжелательностью он сбил «кураж» с молодых людей при их отъезде из Марбурга).

Возможно, Генкель искренне желал блага Ломоносову, наставляя его на путь истинный. Но делал он это при полнейшем непонимании или принципиальном нежелании понять настоящий смысл и характер научных устремлений Ломоносова (что в данном случае было *единственным* условием установления добрых отношений между учеником и учителем). Ломоносов никогда не боялся «черной» работы в науке, если эта работа была оправданной, вела к полезной цели, имела хоть какой-нибудь смысл. Если же нет...

Впрочем, предоставим слово самим участникам конфликта. В рапорте, направленном в Академию наук, Генкель свое столкновение с Ломоносовым описывал так: «Поручил я ему, между прочим, заняться у огня работою такого рода, которую обыкновенно и сам исполнял, да и другие не отказывались делать, но он мне два раза наотрез ответил: «Не хочу». Видя, что он, кажется, намерен отделаться от работы и уже давно желает разыгрывать роль господина, я решил воспользоваться этим удобным случаем, чтобы испытать его послушание, и стал настаивать на своем, объясняя ему, что он таким образом ничему не научится, да и здесь будет совершенно бесполезен: солдату необходимо понюхать пороху. Едва я успел сказать это, как он с шумом и необыкновенными ухватками отправился к себе, в свою комнату, которая отделена от моего музея только простою кирпичною перегородкою, так что при громком разговоре в той и другой части легко можно слышать то, что гово-

рится. Тут-то он, во всеуслышание моей семьи, начал страшно шуметь, изо всех сил стучал в перегородку, кричал из окна, ругался».

Два дня после этого не показывался Ломоносов в доме Генкеля. На третий день написал ему письмо, в котором дал свою собственную оценку случившемуся (интересно находящееся в нем противопоставление Генкеля Вольфу — не в пользу первого). Во всем, что пишет здесь Ломоносов, впервые в полный голос заявила о себе его «благородная упрямка».

«Мужа знаменитейшего и ученейшего,
горного советника Генкеля
Михаил Ломоносов приветствует.

Ваши лета, ваше имя и заслуги побуждают меня изъяснить, что произнесенное мною в огорчении, возбужденном бранью и угрозою отдать меня в солдаты, было свидетельством не злобного умысла, а уязвленной невинности. Ведь даже знаменитый Вольф, выше простых смертных поставленный, не почитал меня столь бесполезным человеком, который только на растирание ядов был бы пригоден. Да и те, чрез предстательства коих я покровительство всемилостивейшей государыни императрицы имею, не суть люди нерассудительные и неразумные. Мне совершенно известна воля е[е] в[еличества], и я, в чем на вас самого ссылаюсь, мне предписанное соблюдаю строжайше. То же, что вами сказано, было сказано в присутствии... моих товарищей, терпеливо сносить никто мне не приказал. Так как вы мне косвенными словами намекнули, чтобы я вашу химическую лабораторию оставил, то я два дня и не ходил к вам. Повинуясь, однако, воле всемилостивейшей монархини, я должен при занятиях присутствовать; поэтому я желал бы знать, навсегда ли вы мне отказываете в обществе своем и любви и пребывает ли все еще глубоко в вашем сердце гнев, возбужденный ничтожной причиной. Что касается меня, то я готов предать все забвению, повинуясь естественной моей склонности. Вот чувства мои, которые чистосердечно обнажаю перед вами. Помня вашу прежнюю ко мне благосклонность, желаю, чтобы случившееся как бы никогда не было или вовсе не вспоминалось, ибо я уверен, что вы видеть желаете в учениках своих скорее друзей, нежели врагов. Итак, если ваше желание таково, то прошу вас меня о том известить».

Таковы были «извинения», принесенные Ломоносовым Генкелю. Таков был результат педагогического эксперимента с растиранием ядов. Генкель, пересылая это письмо Ломоносова в Петербург, весьма точно определил, что тот «под видом извинения обнаруживал скорее упорство и дерзость». Если отношения Ломоносова с Вольфом показывают, что он всегда помнил добро с благодарностью, то конфликт с Генкелем и его дальнейшие последствия (о которых речь впереди) говорят, что он не спускал обид, нанесенных ему, и берег честь смолоду.

Чтобы вполне представить себе масштабы личностной несовместимости Ломоносова и Генкеля, вспомним еще о той сфере ломоносовских интересов, в которую пути почтенному горному советнику были попросту заказаны. При оценке столкновения в химической лаборатории полезно знать, что оно почти совпало по времени с первым выступлением Ломоносова в качестве самостоятельного ученого: в конце 1739 года им было послано в Российское собрание при Академии наук (председателем которого, как мы помним, был Тредиаковский) его знаменитое «Письмо о правилах Российского стихотворства». В работах по физике, выполненных Ломоносовым в Марбурге под руководством Вольфа, он (несмотря на всю их незаурядность) выступал все-таки талантливым учеником. «Письмо» же от начала до конца было написано им самостоятельно и не только самостоятельно, но с истинным блеском и исключительно глубоким проникновением в существо предмета, с такою его трактовкой, которая определила развитие русского стихосложения больше, чем на двести лет вперед и в основополагающих своих чертах не утратила значения и по сей день. В сущности, именно в этом произведении родился Ломоносов-ученый. И ученый — великий.

Ломоносов доказал, что русский язык позволяет писать стихи не только хореем и ямбом, но и анапестом, дактилем и сочетаниями этих размеров, что русский язык позволяет применять не только женские рифмы, но также и мужские и дактилические, позволяет чередовать их в самой различной последовательности. Ломоносов также считал, что тоническое стихосложение можно распространять на стихи с любым количеством слогов в строке.

Тредиаковский, подобно французскому садовнику, который первым в стране вырастил у себя картофель, вполне удовлетворился только его «верхушкою», только цветами

его, а клубни беспечно отбросил прочь. Ломоносов здесь, как и везде, смотрит в корень: он ясно видит, что Тредиаковский не понял истинной, полной ценности новой культуры, выращенной им. И в этом весь Ломоносов. Он немедленно внедрился в область стиховедения с минимальным отставанием от Тредиаковского по времени, но с максимальным опережением его в умении схватить перспективу и масштабы совершаемого поэтического переворота. Он сразу же направил свои усилия на разработку основ нового стихосложения с сознательным прицелом на будущее и с поразительным в молодом теоретике чувством меры и самым бережным вниманием к самобытным свойствам русского языка.

Ломоносов не ограничился одной теорией. К своему письму в качестве примера новых стихотворных правил он приложил сочиненную им «Оду на взятие Хотина».

Взятие русскими войсками 19 августа 1739 года крепости Хотин на Днестре в Бессарабии решило в пользу России исход четырехлетней войны с Турцией. Патриотический подъем охватил стихотворцев. Один из последователей Тредиаковского, сразу же поддержавший его «Новый и краткий способ», — харьковский поэт Витынский, — откликнулся на взятие Хотина следующими стихами, написанными совершенно в стиле своего учителя:

Чрезвычайная летит — что то за премена!
Слава носящая ветвь финика зелена;
Порфирою блещет вся, блещет вся от злата,
От конца мира в конец мечется крылата.
Восток, Запад, Север, Юг, береги с Океаном,
Новую слушайте весть, что над мусу́лманом
Полную Российский меч, коль храбрый, толь славный
Викторию получил, и авантаж главный...

На фоне этих строк можно представить то совершенно ошеломительное впечатление, которое испытали петербургские академики и стихотворцы, читая в январе—феврале 1740 года присланные из Германии стихи никому в литературе не известного студента:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Которой завсегда журчит
И с шумом вниз с холмов стремится.

Лавровы вьются там венцы,
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.

Это было как гром среди ясного неба! «Мы были очень удивлены, — вспоминал первое чтение этой оды академик Я. Я. Штелин (1709—1785), — таким, еще не бывалым в русском языке размером стихов... Все читали ее, удивляясь новому размеру». Стих Ломоносова мощно вел за собою, непонятной силою увлекал в выси, от которых захватывало дух, поражал неслыханной дотоле поэтической гармонией, заставлял по-новому трепетать сердца, эстетически отзывчивые, — ибо этот стих воплотил в себе совершенно новый образ красоты, новый образ мира. И тут ведь не в одном размере дело.

Вяземский назвал поэзию Ломоносова «отголоском полтавских пушек». Это верно, но только отчасти. Сами-то «полтавские пушки» были отлиты из колоколов, набат которых сзывал Россию сплотиться в самые драматические и великие моменты ее предшествующего развития. Историческая подоснова поэзии Ломоносова шире и мощнее, и он в «Оде на взятие Хотина» точно указывает ее границы — от эпохи Ивана Грозного до эпохи Петра:

Герою молвил тут Герой:
«Нетщетно я с тобой трудился,
Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб россов целый свет страшился.
Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток...»

Эти слова (и главное из них: «нетщетно»!), вкладываемые Ломоносовым в уста Ивана Грозного, который через столетия обращается к Петру, — не только риторическая фигура. За этими риторическими словами стоит очень много конкретного: войны и победы Ивана Грозного (и цена, которою они дались); Смутное время, когда громадное государство было на волос от гибели и все-таки уцелело, выдвинув из своих глубин необходимый отпор внешнему нашествию; движение Разина и раскольников, когда самые широкие слои народа стихийно и с небывалым размахом показали свою социальную и нравственную мощь; начало просветительских преобразований, положенное еще при Алексее Михайловиче; и наконец, Петровская эпоха, которая стала лишь последней фазою громадного тектонического сдвига, происшедшего за два века, — моментом, ког-

да отдельные части русского рельефа стали погружаться в недра, а оттуда (из тех же русских недр) произошел выброс новых пород на поверхность. Это была уже зримая стадия процесса. Страх и ужас обуял одних, героический энтузиазм ослепил других свидетелей этого «высокого зрелища». Лишь немногие могли единым взором охватить всю цепь явлений, понять высший смысл происходящего. Необходимо было время, чтобы стихии успокоились, чтобы прояснился горизонт и историческая видимость стала лучше.

И вот наконец наступила минута, когда молодой гений нации понял, что все было «нетщетно», ибо умел сопрячь конец с началом, и тогда его голосом воскликнула отечественная История:

Восторг внезапный ум пленил...

Однако ж вернемся к Генкелю.

Когда Ломоносов спускался с «верьха горы высокой», куда его уносил внезапный восторг вдохновенья, ему приходилось сталкиваться все с той же унизительной необходимостью выпрашивать у чванливого немца денег на ежедневные, самые необходимые расходы, томиться на его скучных лекциях, которые ничего нового уже не давали, выслушивать его пошлые назидания и вдобавок терпеть его постоянные насмешки в присутствии Виноградова, Райзера и других более молодых студентов бергфизика.

Весною 1740 года взаимная неприязнь между Генкелем и Ломоносовым достигла критической точки. Примирение между ними было невозможно. Если Ломоносов прекрасно понимал истинные мотивы вражды Генкеля, знал (уже знал!) потолок его возможностей как ученого и педагога, то фрейбергский профессор не понимал и не хотел понимать, что движет его самолюбивым и беспокойным студентом, не знал и не хотел знать, куда устремлена его творческая мысль. Генкель встречал в штыки любые новые варианты решений тех или иных химических и инженерных задач, которые роились в голове Ломоносова, видя в них только одно: нежелание русского студента работать по его, Генкеля, методе, и объяснял это врожденной строптивостью, а также предосудительным стремлением легко и быстро достичь высокого положения в науке. Ничего иного его мозо-

листый мозг (в течение многих лет трудившийся во славу горного дела — честно и добросовестно, однако «без божества, без вдохновенья») придумать не мог. Генкель имел или предпочитал иметь дело с выдуманным Ломоносовым.

А действительный Ломоносов, окончательно убедившись в полной бесполезности и невыносимости своего дальнейшего пребывания во Фрейберге, в начале мая 1740 года решил покинуть европейски известного специалиста.

С момента ухода Ломоносова от Генкеля начинается, если так можно сказать, «приключенческая» полоса в его биографии.

Оставив часть своих вещей у Виноградова, он отправился на ярмарку в Лейпциг, где, по слухам, находился в те дни русский посол в Саксонии барон Г. К. Кайзерлинг, чтобы тот помог ему вернуться на родину. Добравшись до Лейпцига, Ломоносов узнал, что посланника там нет. Случившиеся на ярмарке «несколько добрых друзей из Марбурга» посоветовали ему поехать с ними в Кассель, куда, как стало известно, ранее отправился Кайзерлинг. Прибыв в Кассель, он и там не нашел посланника. Тогда Ломоносов решает ехать в Марбург, — город, где осталась его семья, где жил Вольф, где он надеялся одолжить денег «у своих старых приятелей», чтобы ехать в Петербург самому. Прожив некоторое время в марбургском доме своей тещи, он направляется в Гаагу просить теперь уже русского посла в Голландии графа Головкина отправить его в Россию.

Тем временем Генкель посылает в Петербургскую академию письмо о «непристойном» поведении Ломоносова во Фрейберге и о его побеге. Академическая канцелярия обращается в Дрезден, к посланнику Кайзерлингу, с просьбой обеспечить Ломоносова деньгами на проезд до Петербурга и вручить ему приказ о возвращении на родину. Ломоносова ищут. Ищет посол, ищет и Генкель. 12 сентября 1740 года последний сообщает в Петербург, что ему неизвестно, где находится его бывший студент.

Покуда идет перекрестная переписка между Петербургом, Дрезденом и Фрейбергом, Ломоносов спешит в Голландию. Головкин, выслушав Ломоносова, отказался занимать-

ся его делом. Тогда, отчаявшись найти поддержку у официальных русских властей за границей, Ломоносов решает, что сам на попутном корабле поплывет на родину, и с этой целью отправляется в амстердамский порт. Здесь он встречает... «несколько знакомых купцов из Архангельска». Рассудительные земляки отсоветовали ехать в Петербург без разрешения. И легла дорога Ломоносова опять в Марбург.

На обратном пути (частью на лошадях, частью пешком) «саксонский студент», как рекомендовал себя Ломоносов, посетил в Лейдене горного советника и металлурга Крамера, показавшего ему свою лабораторию и местные металлургические заводы. Этот эпизод лишний раз показывает, насколько неправ был Генкель, упрекая Ломоносова в уклонении от повседневной работы в науке.

По дороге из Лейдена с Ломоносовым произошло одно приключение, о котором живописно рассказывается в его академической биографии 1784 года: «На третий день, миновав Диссельдорф, ночевал поблизости от сего города, в небольшом селении, на постоялом дворе. Нашел там прусского офицера с солдатами, вербующего рекрут. Здесь случилось с ним странное происшествие: путник наш показался пруссакам годною рыбою на их уду. Офицер просил его учтивым образом сесть подле себя, отужинать с его подчиненными и вместе выпить так ими называемую, круговую рюмку. В продолжение стола расхваливана ему была королевская прусская служба. Наш путник так был употчеван, что не мог помнить, что происходило с ним ночью. Пробудясь, увидел на платье своем красной воротник; снял его. В карманах ощупал несколько прусских денег. Прусский офицер, назвав его храбрым солдатом, дал ему, между тем, знать, что, конечно, сыщет он счастье, начав служить в прусском войске. Подчиненные сего офицера именовали его братом.

«Как, — отвечал Ломоносов, — я ваш брат? Я россиянин, следовательно, вам и не родня...» — «Как? — закричал ему прусский урядник, — разве ты не совсем выспался или забыл, что вчерась при всех нас вступил в королевскую прусскую службу; бил с г. порутчиком по рукам; взял и побратался с нами. Не унывай только и не думай ни о чем, тебе у нас полюбится, детина ты добрый и годишься на лошадь».

Таким образом сделался бедной наш Ломоносов королевским прусским рейтаром. Палка прусского вахмистра запечатлела у него уста. Дни через два отведен в крепость Вессель с прочими рекрутами, набранными по окрестностям.

Принял, однако же, сам в себе твердое намерение вырваться из тяжкого своего состояния при первом случае. Казалось ему, что за ним более присматривают, нежели за другими рекрутами. Стал притворяться веселым и полюбившим солдатскую жизнь...

Караульня находилась близко к валу, задним окном была к скату. Заметив он то и высмотрев другие удобности к задуманному побегу, дерзновенно оный предпринял и совершил счастливо.

На каждой вечер ложился он спать весьма рано; высыпался уже, когда другие на нарах были еще в перьвом сне. Пробудясь пополуночи и приметя, что все еще спали крепко, вылез, сколько мог тише, в заднее окно; всполз на вал и, пользуясь темнотою ночи, влекся по оному на четвереньках, чтобы не приметили того стоящие на валу часовые. Переплыл главный ров... и увидел себя наконец на поле. Оставалось зайти за прусскую границу. Бежал из всей силы с целую немецкую милю. Платье на нем было мокро»[16].

На Ломоносове еще не успело обсохнуть платье, вымокшее во рву везельской крепости, а он уже снова в пути. И снова Ломоносов не может устоять перед искушениями познания: во время остановок в Гессене и Зигене он посещает местные рудники, изучает здешнюю технологию добычи (нет, все-таки Генкель был заурядным педагогом: ведь о таком студенте, как Ломоносов, о такой преданности делу можно только мечтать!).

В октябре 1740 года Ломоносов опять в Марбурге. Опять живет в доме тещи. Опять изыскивает пути к возвращению в Россию (академический приказ об этом ему все еще не известен), ломает голову, где достать деньги, чтобы не быть в тягость родственникам жены.

Как ни тяжело было Ломоносову входить в сношения с врагом, он все-таки решил использовать Генкеля в самую, может быть, критическую минуту своего пребывания в Германии. Несмотря на его уход из Фрейберга, рассудил он, академия продолжает высылать Генкелю жалованье на трех студентов: поэтому востребовать свою долю из общей

суммы не будет унизительным, и новый контакт с профессором дальше юридического уровня не продвинется. С этой целью Ломоносов посылает письмо Райзеру (не Генкелю!), где рассказывает о своих приключениях и просит товарища передать бергфизику, чтобы тот переслал ему в Марбург пятьдесят талеров, причитающихся на его долю. Генкель ответил Райзеру, что без согласия академии не может выдать Ломоносову такую сумму.

Без денег, без документов, без отчетливого представления о том, что его ждет в будущем, — но не без надежды вернуться в Россию и хоть когда-нибудь принести ей пользу, — Ломоносов и в Марбурге продолжает (!) самостоятельно заниматься науками... 5 ноября 1740 года он берется за перо, чтобы поведать академии о своих злоключениях. Вот что пишет Ломоносов в конце его: «В настоящее время я живу инкогнито в Марбурге у своих друзей и упражняюсь в алгебре, намереваясь применить ее к химии и теоретической физике».

С получением означенного письма в академии наконец стало известно местонахождение Ломоносова. В феврале 1741 года академическая канцелярия выслала ему приказ (повторный) о возвращении в Петербург, а Вольфу — вексель в сто рублей для передачи денег Ломоносову и письмо, в котором содержалась просьба одолжить ему, если потребуется, дополнительно небольшую сумму. В апреле Ломоносов получает деньги и приказ. 13 мая в канцелярии Марбургского университета ему оформляют документы для проезда до Петербурга. Через несколько дней Ломоносов уже в порту города Любека.

Когда в конце мая 1741 года он ступил на корабль, взявший курс к России, ему уже было под тридцать.

Четыре с половиной года провел он в Германии; основательно изучил экспериментальную и теоретическую физику, философию и естественную историю, горное дело и многие-многие другие научные дисциплины; корпел в химических лабораториях, спускался в рудники, старательно изучал устройства применяемых механизмов, стоял у плавильных печей, учился у лучших специалистов в горнодобывающей промышленности и металлургии; овладел немецким, французским и итальянским языками; стал отличным рисовальщиком; написал «Письмо о правилах

Российского стихотворства» и три научные работы по физике; и наконец, в полный голос заявил о своем поэтическом даре, переведя стихотворения Анакреона и Фенелона и сочинив «Оду на взятие Хотина», которая через сто лет побудила Белинского назвать его «отцом русской поэзии».

За время пребывания в Германии Ломоносов впервые по-настоящему, каждым атомом своего сознания проникся великой патриотической идеей, которая отныне станет управлять всеми его поступками и начинаниями. Надо думать, что и на берегах Северной Двины, и в Москве, и в Киеве, и в Петербурге Ломоносов любил Россию. Но только оказавшись оторванным от родины на четыре с лишним года, он всем существом своим ощутил ее мощную власть над собой.

В сущности, все это время о чем бы он ни думал, он думал о ней и только о ней. Когда он метался по Саксонии и Вестфалии, Тюрингии, Баварии, Голландии — он рвался к России. Когда он, как в рудоносную копь, проникал в глубины родного языка, чтобы понять его «природные свойства», — он постигал сокровенный образ понятий России. Когда он всходил «на верьх горы высокой» и единым взором обозревал родную историю, драматическую и славную, — он обретал уверенность в великом предназначении России. Когда он, «Петр Великий нашей поэзии», по выражению Белинского, создавал новую поэзию, сообразную русскому слову, его мелодичности, его энергии, его красоте, — он облекал в мускулистую плоть бессмертный дух России.

Самая страсть Ломоносова к познанию в свете открывшейся ему патриотической идеи приобрела иной, высший смысл. Сегодня, когда все чаще слышится, что наука-де «над-национальна», говорить о связи патриотизма и познавательной деятельности, о глубоком родстве таких понятий, как Истина и Родина,— на иной взгляд, быть может, и странно. Но именно потому, что это может показаться странным, говорить об этом стоит. Тут пример с Ломоносовым в высшей степени поучителен. Академик С. И. Вавилов однажды обронил глубокую *мысль о национальном качестве науки.* Вот его высказывание по этому поводу:

«Наиболее замечательные и совершенные произведения человеческого духа всегда несут на себе ясный отпечаток

творца, а через него — и своеобразные черты народа, страны и эпохи. Это хорошо известно в искусстве. Но такова же и наука, если только обратиться не просто к ее формулам, к ее отвлеченным выводам, а к действительным научным творениям, книгам, мемуарам, дневникам, письмам, определившим продвижение науки.

Никто не сомневается в общем значении Эвклидовой геометрии для всех времен и народов, но вместе с тем «Элементы» Эвклида, их построение и стиль глубоко национальны, это одно из примечательнейших проявлений духа Древней Греции наряду с трагедиями Софокла и Парфеноном. В таком же смысле национальны физика Ньютона, философия Декарта и наука Ломоносова»[17].

Действительно, есть все-таки безусловная закономерность в том, что экспансивный француз пишет о «вихревой» вселенной, практичный англичанин смотрит на нее как на часовой механизм, а русский, со своей поэтически-эмоциональной точки зрения, отмечает в ней прежде всего «чудеса согласия», «согласный строй причин, единодушный легион доводов», «самоочевидную и легкую для восприятия простоту». И каждый из них (и Декарт, и Ньютон, и Ломоносов), воплощая собою дух своих народов, по-своему осветил истину, которую ищет весь человеческий род.

Вот почему необходимо подчеркнуть, что в Германии Ломоносов не столько *приобретал* определенную сумму знаний чужой науки, сколько творчески *перерабатывал* эти сведения, по необходимости переводя их в новое качество. Первым обратил на это внимание Радищев: «Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятии чуждыя, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые»[18].

В Германии Ломоносов вполне ощутил себя именно *представителем* России. Это почти неизбежно происходит со всяким русским человеком, попадающим за границу. Вероятно, и его товарищи испытывали похожее ощущение. Но в отличие от них Ломоносов испытал еще и чувство громадного долга перед Россией. Это чувство наполняло его душу нетерпением, ибо теперь гениальная одаренность Ломоносова, помноженная на основательную подготовку в самых разных науках, открывала перед ним поистине необъятные возможности.

К этому, если так можно выразиться, «государственному» нетерпению в ожидании встречи с Россией у Ломоносова присоединялось и личное чувство.

Отец... Одиннадцать лет назад он ушел от него, не простившись. Теперь ему должно быть за шестьдесят: как-то ловит он рыбу? как ладит с мачехой Ириной? что думает о своем сыне? Мысли о Василии Дорофеевиче, видимо, преследовали Ломоносова всю дорогу до Петербурга. Он даже видел отца во сне, выброшенным на необитаемый остров в Ледовитом океане, к которому еще в молодости Михайлу с отцом однажды прибило бурей.

8 июня 1741 года Ломоносов ступил на русскую землю. Странный сон, увиденный на море, не давал ему покоя. Чувство сыновней вины усиливало тревогу. Прибыв в Петербург, Ломоносов первым делом наведался к архангельским и холмогорским артельщикам узнать об отце. Он был ошеломлен, услышав, что его отец ранней весною того же года, по первом вскрытии льдов, отправился в море на рыбный промысел и что, хотя минуло уже несколько месяцев, ни он и никто другой из поехавших с ним еще не вернулся.

Это известие наполнило Ломоносова крайним беспокойством. Минуло уже несколько месяцев... То есть почти в то самое время, когда он сидел в Марбурге без гроша в кармане, отчаявшись вырваться на родину... Теперь и уход из Фрейберга, и погоня за Кайзерлингом, и слезные попытки уговорить Головкина предстали перед Ломоносовым в новом свете. Может быть, именно стремление увидеть отца и смутное предчувствие какой-то непоправимой беды, готовой разразиться там, на северной родине, заставило его с таким упорством, с таким остервенением искать возможности пробиться в Россию и дважды с этой целью пересечь всю Германию и половину Голландии. Может быть, теперешняя неизвестность о судьбе отца — это возмездие ему, Михайле Ломоносову, за то отчаяние, которое одиннадцать лет назад пережил Василий Ломоносов, находясь в полной неизвестности о судьбе сына? Случайное совпадение... Однако на душе от этого не легче. А вдруг вовсе даже не случайное, а роковое? Иначе — отчего эта подсознательная уверенность, что отец теперь на *том самом* острове?

С первой же оказией в Холмогоры Ломоносов посылает письмо к тамошней артели рыбаков, в котором убедитель-

но просит, чтобы при выезде на промысел они заехали к злополучному острову (его положение и вид берегов он точно и подробно описал), обыскали бы по всем местам, — и если найдут тело отца, пусть предадут земле. Несколько месяцев с нетерпением ждал Ломоносов весть от земляков. Наконец она пришла: в ту же осень рыбаки действительно нашли тело Василия Дорофеевича на том самом острове, похоронили и возложили на могилу большой камень...

Получив это скорбное известие (которое, однако, подтверждало его догадки), Ломоносов не мог не почувствовать, что тяжелый и испытующий взгляд судьбы и впрямь отличил его среди людей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Тогда-то грянул новый блеск с высот...

Данте

Петр I не оставил указаний о наследнике. За его смертью в истории России последовала трудная полоса. После лифляндки Екатерины (вдовы Петра I) воцарилась Анна Иоанновна, власть перешла в руки Бирона. «Одновременно началось настоящее нашествие других иностранцев, вроде Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бревернов, Мекленбург-Шверинов, целой армии экзотических принцев и принцесс, солдат, авантюристов, двинувшихся на Россию со всех концов Европы и деливших между собою, как добычу, должности, почести, доходные места, высасывая все соки из страны для удовлетворения своих аппетитов»[1].

Смерть Анны Иоанновны и ссылка Бирона мало что изменили. Непродолжительное и странное царствование малолетнего Иоанна Антоновича (при котором регентшею была его мать Анна Леопольдовна), пожалуй, с еще большей очевидностью показывало, что ни у одной группировки, соперничавшей за русский престол, не было сколько-нибудь отчетливого и ответственного представления как о дальних целях, так и о ближайших задачах развития огромной страны, — что для них все в конечном счете сводилось к тому же удовлетворению «своих аппетитов». Взоры русских все чаще с надеждою устремлялись на цесаревну Елизавету Петровну. Ее называли «искрой Петра Великого».

...25 ноября 1741 года триста гвардейцев Преображенского полка шли по Невскому проспекту вслед за санями Елизаветы к императорскому дворцу. На Адмиралтейской площади цесаревна вышла из саней и пошла по глубокому снегу.

— Что-то тихо идем, матушка! — раздалось в толпе гвардейцев.

Елизавета разрешила двум солдатам поднять ее на руки. Так и внесли ее на руках во дворец. На целых двадцать лет...

Когда Елизавету возвели на престол, ей было уже за тридцать. Юность ее прошла при Анне Иоанновне. Прошла незаметно и — тускло. Ей, как цесаревне, был выделен довольно скудный (по сравнению с европейскими принцессами крови) бюджет, которого едва хватало на ежедневный стол, не ахти какой гардероб и содержание малого числа гвардейцев, составлявших ее охрану и свиту. Ни балов, подобных версальским (о которых она слышала от французского посланника), ни богатых обедов и загородных праздников, ни хвалы стихотворцев... Вскоре Елизавета смирилась со своим положением «бедной родственницы» при дворе. К власти она не стремилась, зная прекрасно, что за такое стремление можно и жизнью поплатиться, да и само пребывание на троне тоже чревато «беспокойными» последствиями: ну, хотя бы заточением в монастырь или ссылкою в какой-нибудь дальний город... Ей же хотелось именно покоя и беззаботности. Ее вполне устраивали вечерние пирушки с гвардейцами, катания на тройках зимой и хороводы да игра в горелки летом. Правда, была у нее одна слабость — придворные певчие. Вернее, один из них — дюжий сын малороссийкого реестрового козака Алексей Розум. Елизавета сразу пленилась одинаково мощными красотою и басом его. Он стал частым гостем на ее вечерах. Так в нехитрых забавах и проводила она свою молодость, пока не наступил знаменательный ноябрьский день 1741 года.

Она была совершенно непригодна к управлению огромной страной. Она любила обильную пищу и быстрые забавы. Тело ее было подвижно, ум — ленив. После переворота в ее характере мало что изменилось. Перемены коснулись только ее гардероба (с ноября 1741 года она до самой смерти ни разу не надела одного и того же платья дважды), ее стола (во дворец были приглашены лучшие иностранные повара), ее забав (фейерверки и стихи в ее честь, маскарады, охота и т. п.) да ее фаворита (Алексей Розум сделался графом Разумовским, в Петербург с черниговского хутора Лемеши был привезен его брат Кирилл, которому в скором будущем предстояло возглавить Академию наук). Заботить-

ся о политике Елизавете не пришлось, за нее это делали другие.

И все-таки, как ни никчемна была Елизавета Петровна в государственном отношении, с ее приходом к власти, будто после лютой зимы, повеяло весною. Взойдя на престол, Елизавета приблизила к себе русских, она была веселого и открытого нрава, любила русские обычаи, сочиняла стихи в духе народных песен, истово соблюдала православные обряды. Она отменила смертную казнь (что имело немаловажное значение, когда память о зверствах Бирона еще была свежа). При ней российские войска под руководством славных военачальников (И. С. Салтыкова и молодых Румянцова, Суворова и Петра Панина) развеяли всеевропейский миф о непобедимости прусской армии Фридриха Великого. И наконец, Елизавета была дочерью Петра I! Все это не могло не вызвать патриотического подъема среди подданных.

Воцарение Елизаветы самым непосредственным образом отразилось и на личной биографии Ломоносова. Прибыв в июне 1741 года в Петербург, Ломоносов, горевший желанием приступить к работе, из-за беспорядка, царившего тогда в академии, более полугода провел в бездействии, почти не имея средств к существованию, томясь полной неопределенностью своего положения. Лишь в январе 1742 года (то есть чуть больше месяца спустя после событий, приведших Елизавету к власти) Ломоносов получил должность «адъюнкта Академии по физическому классу с жалованьем в 360 рублев в год, считая в то число квартиру, дрова и свечи».

Еще до получения должности адъюнкта Ломоносов добросовестно работал в академии: переводил на русский язык с латыни и немецкого научные труды профессоров, составил «Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Академии наук», завершил собственное большое исследование «Элементы математической химии», начал вести физические и философские записки, в которых что ни строчка, то гениальная догадка. Теперь же, когда положение Ломоносова в академии вполне определилось, он с еще большей активностью отдается научной, литературной и просветительской деятельности.

В январе 1742 года он входит в академическую канцелярию с предложением об учреждении первой в России химической лаборатории, где бы он (уже понимавший выдаю-

щуюся роль, которую в XVIII веке предстояло сыграть химии) «мог для пользы отечества трудиться в химических экспериментах». В августе того же года он изъявляет желание читать лекции ученикам академической гимназии и всем интересующимся. В программе лекций говорилось: «Михайла Ломоносов, адъюнкт академии, руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов». С 1 сентября Ломоносов приступил к чтению лекций. Он пишет огромное число научных работ, начинает в 1743 году систематически изучать природу северных сияний, вновь и вновь напоминает о необходимости создания химической лаборатории, приступает к работе над «Кратким руководством к красноречию», сочиняет торжественные оды, знаменитые «Утреннее» и «Вечернее» размышления и т. д. и т. д.

Ломоносов вступает в новую — совершенно самостоятельную и исключительно плодотворную — стадию своего развития. 1740-е годы — это период, когда в полной мере определяются масштабы его широчайших творческих возможностей. В этой связи выдающийся интерес представляют те научные записки, которые Ломоносов начал вести сразу по приезде из Германии и которые впоследствии, при систематизации его рукописного наследия, получили название «276 заметок по физике и корпускулярной философии» (1741—1743). Историк науки Б. Г. Кузнецов, специально исследовавший этот документ, писал:

«Здесь мы находимся в мастерской гения, где собраны произведения в разной степени готовности, так что можно видеть пути творческой мысли от первой догадки, пронизавшей сознание ученого, до готовой формулировки... Молодой мыслитель достиг некоторой вершины, перед ним открылся очень широкий горизонт, десятки крупных вопросов озарились новым светом, новые гипотезы и теории нахлынули на Ломоносова, и он торопился хотя бы фразой, понятием, словом закрепить эти мысли на бумаге. Они будут систематизированы, войдут (к сожалению, не все!) в будущие диссертации...

Моцарт говорил о моменте творчества, когда в одну секунду слышна вся будущая симфония. Именно таким об-

разом Ломоносов, формулируя некоторые основные принципы, уже видел все конкретные примечания общего закона, которые должны уложиться в исходную формулу»[2].

Этот момент вдохновения, момент озарения, пережитый Ломоносовым в начале его самостоятельной деятельности, очень важен для понимания творчества Ломоносова, его личности и поведения не только в рассматриваемый период, но и на всем протяжении его жизненного пути.

«Сколь трудно полагать основания! Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний... Я, однако, отваживаюсь на это, опираясь на положение или изречение, что природа крепко держится своих законов и всюду одинакова». Это из 160-й заметки. Приблизительно в это же время Ломоносов переводит небольшой отрывок из 15-й книги «Матеморфоз» Овидия, где один из главных героев поэмы философ Пифагор произносит такие слова, столь созвучные ломоносовскому духовному состоянию:

Устами движет бог; я с ним начну вещать.
Я тайности свои и небеса отверзу,
Свидения ума священного открою.
Я дело стану петь, несведомое прежним!

Ощущение мощи своего духа, который в состоянии «одним взглядом охватывать совокупность всех вещей», ясное понимание самобытности того «дела», которое он намерен «петь», сознание абсолютной новизны тех истин, которые открыты его внутреннему взору — все это наполняет Ломоносова радостью и желанием поделиться с людьми тем многим, что есть у него. По Ломоносову, жизнь человеческая, если она не одухотворена, не озарена высокими идеалами, если в ней отсутствует святое стремление постичь смысл всего прошедшего, происходящего и имеющего произойти,— бесцельна, пуста, скучна, безбожна. В существовании людей, погруженных только в юдольные, земные заботы, людей, позабывших о небесах, заглушивших в себе искру небесного огня, есть нечто трагически противоестественное, глубоко, коренным образом чуждое человеческой природе, нечто порочащее высокое родовое предназначение человека, которое состоит в познании мира и себя.

О боже, что есть человек,
Что ты ему себя являешь,
И так его ты почитаешь,
Которого столь краток век.

4 Заказ 1297

Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень.

От такой жизни — бесцельной и не осознанной — Ломоносов зовет людей в путешествие по бескрайним просторам знания, открывшегося ему. Человек новой формации, вполне постигший нравственную сущность происшедших в России перемен, он мечтает о том, чтобы все люди приобщились к великим тайнам природы: ведь в этом приобщении, в самом стремлении познать причины вещей и явлений происходит духовное «выпрямление» человечества, его раскрепощение:

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло приближившись воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Учеными уже давно отмечено, что здесь Ломоносов замечательно энергичными стихами сумел изложить свою научную трактовку физических процессов, происходящих на солнце. Однако же сводить все значение «Утреннего размышления о божием величестве» (1743), откуда взяты приведенные строки, только к этому — значило бы непозволительно обеднить его художественное и гуманистическое содержание.

Гоголь, внимательно изучавший поэзию Ломоносова, в свое время высказал удивительно верные слова по поводу тех его стихотворений, где преобладает научная тематика: «В описаниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта»[3].

Ломоносов, в сущности, никогда не писал сухих научных трактатов в стихах. Прирожденный поэт, он дает в своих произведениях, прежде всего, глубоко взволнованное, глубоко лиричное переживание той или иной темы, мысли, догадки, чувства, поразивших его, заставивших передать

это свое душевное состояние бумаге. В данном случае одинаково важно то, что Ломоносов, с одной стороны, непосредственно и ясно усматривает научную истину, живописуя в образах физическую картину солнечной активности, а с другой — выражает свое искреннее желание сделать достоянием всех людей эту истину, доступную только ему. Вознесенный силою своей мысли на недостижимую доселе высоту, Ломоносов не посматривает презрительно или иронически («свысока») на простых смертных, помыслами своими прибитых к земле,— он испытывает прямо-таки ностальгическую тоску по человечеству. Ему одиноко на той высоте, и хотя это одиночество первооткрывателя (то есть вполне понятное, пожалуй, вполне достойное, а на иной гордый взгляд, возможно, даже и отрадное одиночество), Ломоносову оно не приносит удовлетворения и радости. Ибо у него слишком прочна, точнее, неразрывна связь с землей, взрастившей его, вскормившей живительными соками органичную мысль его. Ломоносовская мысль потому и мощна, потому и плодотворна, что умеет гармонически совместить в себе небесное и земное начало: полный отрыв от земли иссушил бы, убил бы ее. Вот отчего так естественен в «Утреннем размышлении» переход от грандиозных космических процессов к делам земным, делам повседневным:

Сия ужасная громада
Как искра пред тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, боже, возжена
Для наших повседевных дел,
Что ты творить нам повелел!

Ломоносов не загипнотизирован ни величием «ужасной громады» Солнца, ни «божием величеством». Высшая зиждущая сила — творец — требует от своих созданий, прежде всего, творческого отношения к миру. Бог не может быть страшным для «смертных», если они сознают простую и великую истину, что быть человеком в полном смысле слова — значит быть творцом, созидателем, приумножающим красоту и богатство окружающего мира. По сути дела эти стихи Ломоносова — о необходимости «божия величества» в каждом человеке.

Как прекрасно и непосредственно сказалась в «Утреннем размышлении» личность Ломоносова! Повторяем: здесь говорится не только о физическом состоянии солнеч-

ного вещества. Ведь это необъятный и могучий ломоносовский дух грандиозными протуберанцами извергается из пылающих строф, ведь это о нем, снедаемом жаром созидания, сказано:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся...

Он воистину могуч, ибо в состоянии переплавить, перетопить в своем лоне, словно в солнечной топке, все бесчисленные разнородные, сырые и грубые впечатления бытия и превратить их в ясное знание, в качественно новое понятие о мире. Все стихотворение пронизано этой радостью ясного знания — «веселием духа», как пишет сам Ломоносов. Свет истины, рождаемый ценою предельного напряжения, предельного горения всех сил души, столь же ярок и живителен, что и свет Солнца. Именно так: живая истина, способная преобразить мир, не может родиться от одного лишь интеллектуального усилия. Тут весь духовный организм человека: ум, воля, совесть, талант,— все сгорает на предельных температурах, не погибая вовсе, но превращаясь в новый вид духовной энергии, в великую идею, плодотворно воздействующую на природу и человека. Эта идея не знает кастовой ограниченности и, подобно солнцу, освещает всю Землю, всех людей:

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись
Исполненны твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик заждитель наш, господь!

Для Ломоносова очень важна нравственная сторона познания. Жизнь всегда сложнее самой сложной теории, самой подробной и разветвленной схемы. Необходимо уметь пойти на поправки в теории, если она противоречит действительному положению вещей. Упорствовать в своих ошибках — значит проявлять позорное малодушие перед лицом истины. Чтобы не оказаться во власти представлений умозрительных и ложных (и не ввести тем самым в заблуждение других людей), чтобы познать мир во всей его сложности, надо иметь моральную силу и смелость не дробить своего мировосприятия, но каждый элемент, каждое явление, мельчайшую пылинку живой и неживой природы рассматривать как средоточие мировых связей, как место

действия универсальных законов, управляющих всей вселенною. Конечно, гораздо легче оторвать понятие от предмета, явление от сущности и манипулировать философскими и научными абстракциями, уже не соотнося их с реальной действительностью. Но на этом пути человеческую мысль ожидает застой, очерствение, смерть от недостатка воздуха.

Живая мысль подмечает в окружающем мире такие чудеса, такие парадоксы, такие соотношения, перед которыми схоластика и рассудочность просто бессильны. Вот почему не к простым смертным обращена ирония Ломоносова, но, прежде всего, к тем из людей, которые, по общему признанию, являются носителями земной мудрости, но с высоты, открывшейся ему, представляются не больше не меньше как сухими «книжниками», безнадежно далекими от действительной, живой истины:

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает книгу вечных прав,
Которым малой вещи знак
Являет естества устав:
Вам путь известен всех планет;
Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
. . . .
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?..

Эти вопросы из «Вечернего размышления о божием величестве при случае великого северного сияния» (1743) обращены к представителям западноевропейской натурфилософии, весьма падким на умозрительные гипотезы относительно всевозможных явлений природы (здесь: северных сияний). Критика Ломоносова тем убедительнее, что основана на более полном и глубоком знании предмета. Он, еще с детства знакомый с «пазорями» (так поморы называли полярные сияния), идет от наблюдений к обобщениям, от практики к теории, а не наоборот. Так, например, гипотезу своего марбургского учителя Христиана Вольфа, ви-

девшего причину загадочного явления в образующихся глубоко под землей сернистых и селитряных «тонких испарениях», которые, поднимаясь, начинают ярко полыхать в верхних слоях атмосферы — гипотезу наивную, но поддержанную многими учеными, Ломоносов разбивает искренне недоуменным и замечательно здравомысленным вопросом: «Как может быть, чтоб мерзлый пар Среди зимы рождал пожар?» В его сознании уже забрезжила догадка об истинной природе северных сияний — догадка, основанная на многочисленных наблюдениях и личном опыте: как помор он знал, что «матка» (компас) всегда «дурит» на «пазорях», как ученый он склонен был объяснять это колебаниями атмосферного электричества. В «Вечернем размышлении» он как бы невзначай, среди чужих ответов на поставленные им вопросы предлагает и свой собственный:

Иль в море дуть престал зефир:
И гладки волны бьют в эфир.

Отчетливое понимание ошибочности гипотез и мощное предчувствие своей правоты как раз и составляет эмоциональный пафос «Вечернего размышления».

Однако же вновь приходится отметить, что самое замечательное в приведенных стихах Ломоносова о Солнце и северном сиянии не собственно-научная их сторона. Ломоносов мог и ошибиться в своих догадках. Наука могла и не подтвердить правоты его идей. В науке сплошь да рядом случается такое: сегодня та или иная теория деспотически повелевает умами, она — монархиня, а завтра происходит научная революция, и новые «гвардейцы» науки возводят на престол новую царицу — опять-таки до следующего переворота. Вот почему гораздо важнее подчеркнуть ту поэтическую непосредственность, с которой Ломоносов выражал (а не формулировал) новые истины.

Существует мнение, что Ломоносов является представителем так называемой «научной поэзии», что он в своем творчестве «гармонично соединял» (или «органично синтезировал») несоединимое: науку и поэзию. Спорить с этим, в общем-то, трудно. Но, пожалуй, все-таки стоит.

«Научная поэзия» существовала и до Ломоносова, и при нем, и после него. Старший его современник — выдающийся английский поэт Александр Поуп (1678—1744) написал, к примеру, огромную поэму «Опыт о человеке», в которой чеканным ямбом запечатлел все известные ему философ-

ские доктрины, касающиеся нравственной сущности человека в ее отношениях к природе и обществу. Вот уж кто действительно соединял науку и философию с поэзией, причем соединял сознательно и методично. И преуспел в этом. Позднее Вольтер, находившийся в начале своего пути под сильнейшим влиянием Поупа, сочинил «Поэму о естественном законе» (1754), где дал по сути дела поэтический конспект некоторых важных положений физики Ньютона и философии Локка и Лейбница и на основе этих взаимоисключающих учений пришел к выводу о необходимости для человечества следовать во всем религии разума, а не веры,— «естественной религии», как он сам ее называл. Более древние времена тоже дают примеры поэзии в этом роде. Так, римский поэт Лукреций обстоятельно изложил материалистическое учение греческого философа Эпикура в поэме «О природе вещей». То, что названные поэты перелагали стихами чужие теории, нисколько не умаляет значения их произведений: каждое из них сыграло выдающуюся просветительскую роль для своей эпохи, каждое из них имеет большое историко-литературное значение и известную научную ценность (поэма Лукреция — тем более что от наследия Эпикура остались только фрагменты). Если же к этому добавить их несомненные эстетические достоинства, то присоединение ломоносовской поэзии в этот литературный ряд выглядит вполне уместным и вроде бы даже вполне достойным.

И все-таки Ломоносов в корне противостоит традициям «научной поэзии» в том их виде, как они сложились к моменту его творческого созревания. Для Лукреция, Поупа, Вольтера характерно, прежде всего, позитивное изложение *чужих* учений. Перед ними действительно стояла проблема «гармонического соединения», «органического синтеза» поэзии и науки. Поэзия для них — свое, наука — внешнее, в поэтическом изложении происходило снятие этого противоречия. Ломоносов же интересен, прежде всего, тем, что в его сознании наука и поэзия не были антагонистически разорваны. В стихах его выражено, прежде всего, *лирическое переживание истины,* явившейся ему, пронизавшей все его существо,— истины, облеченной не в понятие, а в художественный образ. Причем этот образ истины сразу начинает жить своею жизнью, управляет всем произведением. Ведь строго рассуждая, в «Утреннем размышлении» физическая картина состояния солнечного вещества вовсе даже

и не аргументирована научно — а угадана художественно. Здесь не гипотеза, а образ. Точно так же и в «Вечернем размышлении» не разбор различных ученых мнений о природе северных сияний лежит в основе произведения (это было бы приличнее для «специмена», диссертации), но — говоря словами Ломоносова — «священный ужас» перед неисчислимым разнообразием таинственных, еще необъясненных явлений природы. Не случайно он предваряет свои вопросы к «книжникам» такими стихами, в которых выражено недоумение по поводу того, что природа нарушает свой же «устав»:

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

Так, несколькими энергичными мазками Ломоносов создает художественный образ занимающихся полярных сполохов. Это не детальное научное описание северного сияния, но именно художественная картина его. Реальное явление здесь с самого начала растворено в переживании. Здесь, по сути, нет физической проблемы, есть проблема духовная. И хотя дальше Ломоносов задает «книжникам» вопросы, связаные с физикой, главное в них — смятение души, во что бы то ни стало стремящейся к раскрытию тайны: разрешите же сомнение! «Скажите, что нас так мятет»!

Ломоносову не нужно было «синтезировать» или «соединять» в своем творчестве науку и поэзию, ибо они у него *еще не были разъединены*. Ломоносовская мысль на редкость целостна и органична в самой себе. В ней стремление к познанию, стремление к нравственной свободе и стремление к красоте — эти три главных «движителя» духа — не механически совмещены, а химически связаны. Ломоносов выступил на историческую арену в ту пору, когда в России разделение единого потока общественного сознания на отдельные «рукава» только еще начиналось. Именно благодаря Ломоносову, его деятельности, мы можем говорить о поэзии, науке, философии и т. д. как отдельных, совершенно самостоятельных дисциплинах. Собственно, с Ломоносова-то этот процесс и начинался. Сам же он — поэт

и ученый, живописец и инженер, педагог и философ и т. д. и т. п.— остался един во всех лицах.

Эта оригинальность ломоносовской личности и ее места в культуре XVIII века имеет и общеевропейское основание. Ведь Россия — как великая держава — активно включилась в европейскую жизнь в ту пору, когда в культуре развитых стран (Англии, Голландии, Франции) процесс дифференциации, дробления общественного сознания шел уже полным ходом. Ньютон не писал стихов, Спиноза не создавал мозаичных картин, Мольер не налаживал технологии стекольного производства. (Правда, Вольтер, например, пробовал помимо поэзии и драматургии заниматься философией, физикой, химией, другими науками; но в этих занятиях дальше популяризации чужих идей не пошел.) Ломоносов же, в силу специфики русской культурной ситуации начала XVIII века, должен был принять на себя выполнение всех тех задач, которые в дальнейшем решали уже разные специалисты в разных областях. Требования исторической необходимости в данном случае идеально совпали в потребностями духовного развития самого Ломоносова — широта и величие исторических задач с широтой и величием его устремлений.

Поэзию Ломоносова (уже самые ранние его произведения) трудно понять в полной мере, опираясь на данные одной только историко-литературной науки. По типу личности Ломоносов весьма далек от своих европейских современников. Не с Вольтером и Поупом его следовало б сопоставлять, а с великими деятелями Возрождения — Леонардо, Фр. Бэконом и т. п. И если уж дело идет о ломоносовской поэзии, то фигура, скажем, Джордано Бруно, в пламенных стихах выражавшего свое ощущение «героического энтузиазма» перед лицом неисследованной Вселенной, дерзкой мечтой устремившегося к иным мирам, по духу стоит гораздо ближе к нашему поэту.

«Героический энтузиазм» — вот, пожалуй, наиболее верное определение той эмоциональной приподнятости, которую ощутил в себе Ломоносов, когда по возвращении из Германии писал: «Сколь трудно полагать основания!.. Я, однако, отваживаюсь на это...» Это ощущение героического энтузиазма не покинуло Ломоносова в течение всей его жизни, чем бы он ни занимался. Точно так же, как никогда не покидало его понимание самобытности, уникальности того дела, которое он отстаивал и претворял в жизнь

как представитель русской культуры. То же самое можно сказать и о единстве, органичности его необъятных творческих устремлений — личность его всегда была цельной.

Есть непреложный закон в поэзии. Если поэт как человек достаточно глубок и содержателен, если он прочно связан со своим временем, если он в раздумьях над коренными вопросами бытия умеет прийти к своим выводам, это рано или поздно воплощается в его творчестве в каком-то излюбленном образе, который с различными видоизменениями переходит из стихотворения в стихотворение,— в некий сквозной символ его поэзии, в котором самобытность художника выражается предельно последовательно и полно. Например, для Пушкина это образ солнца, солнечного дня, для Тютчева — образ ночи, для Боратынского — образ памяти и т. д.

Когда заходит разговор о поэзии Ломоносова, то чаще всего как пример такого излюбленного образа приводят «парение», «взлет», стремление ввысь. Обычно это наблюдение подкрепляют цитатами из похвальных од Ломоносова (вспомним начало «хотинской» оды: «Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верьх горы высокой...»). Это, в принципе, верно. Однако же все подобные примеры не отражают полностью ломоносовского представления о мире. И «парение», и «взлет», и стремление ввысь выполняют у Ломоносова, как правило, строго определенную роль: это, прежде всего,— выражение духовного подъема, вдохновения, восторга. Парение души — это одно из главнейших нравственных состояний человека в поэтическом мире Ломоносова, когда человек становится свидетелем и соучастником космических событий, когда его внутреннему взору открываются величайшие мировые тайны и т. д. Чаще всего метафора «парения» употребляется Ломоносовым сознательно, с намеренной целью выразить этот духовный подъем. Но повторяем, все это не отражает исчерпывающе поэтических воззрений Ломоносова на мир.

Если привлечь к рассмотрению не только похвальные оды Ломоносова, но всю поэзию в совокупности, то мы увидим, что ее сквозным символом является *огонь*. Образы, построенные на ассоциациях с огнем — начиная с «Оды на взятие Хотина» (1739) и кончая последней миниатюрой «На Сарское село» (1764),— присутствуют в подавляющем большинстве поэтических произведений Ломоносова. Сейчас перед нами — начальные стихотворения Ломоносова.

Тем знаменательнее тот факт, что уже на заре своей поэтической деятельности Ломоносов отвел огню совершенно выдающуюся роль в своем художественном мире. Огонь — это центр Вселенной, податель жизни, главнейшее и единственное условие существования мира (достаточно вспомнить «Утреннее размышление»). Через посредство огня человек у Ломоносова выполняет и свою великую миссию познания природы вещей («озарение» у него всегда предшествует «парению»).

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И божия дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!

(Только после этого следует: «Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь...»)

Еще в глубокой древности люди пришли к убеждению: увидеть — значит познать. Во времена античности Гераклит Эфесский учил, что мировой порядок «всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим, мерами угасающим», и залогом достоверного знания о мире считал зрение, «ибо глаза более точные свидетели, чем уши». В эпоху Возрождения об этом же писал Леонардо да Винчи: «Глаз, называемый окном души,— это главный путь, которым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные творения природы». Ломоносовский мир освещен из конца в конец, у Ломоносова даже ночь — светла («Вечернее размышление»). Мир этот — познаваем, оттого и радостен. От «героического энтузиазма» перед непознанным до «веселия духа» перед открытым, постигнутым — таков эмоциональный диапазон переживания человеком этого необъятного мира.

Можно смело утверждать, что до появления Пушкина не было на Руси поэта более светлого, более солнечного, чем Ломоносов. Именно в поэзии Ломоносова русская мысль на «стыке» двух великих эпох — средневековья и нового времени — пережила свой момент озарения. Именно в поэзии Ломоносова Россия, выходившая на всеевропейский простор, прочувствовала все величие своего будущего. И конечно же, не случайно то, что это ощущение благоприятности грядущих судеб вольно или невольно выражалось Ломоносовым опять-таки в «огненных» образах:

Светящий солнцев конь
Уже не в дальной юг
Из рта пустил огонь,
Но в наш полночный круг.

...Все в поэзии Ломоносова начала 1740-х годов доказывало, насколько ясно сознавал он величие задач, стоявших перед его страной и им самим. Он горел нетерпением выполнить требования исторической необходимости, совершить великий человеческий подвиг во славу русской культуры, приблизить желанное будущее.

Но уже в самом начале своей грандиозной работы он столкнулся с препятствиями.

2

...Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.
Ломоносов

...В 1714 году, когда Петр I вел активные переговоры с европейскими учеными по поводу будущей академии, из Страсбурга в Петербург приехал молодой эльзасец по имени Иоганн-Даниил Шумахер. За три года до этого он у себя на родине защитил магистерскую диссертацию на богословскую тему и счел, что наука — не для него. За пятьдесят лет, прошедших с момента защиты до его смерти, он уже не написал ни одной научной работы. В двадцать один год распростившись с наукой, Шумахер готовил себя к административной карьере.

Прибыв в Петербург, он вошел в доверие к лейб-медику царя Арескину, и тот помог ему устроиться не больше не меньше как императорским библиотекарем и смотрителем знаменитой Кунсткамеры. Чтобы его связь с двором была прочнее, он женился на дочери петровского повара Фельтена (Фелтинга). Новый лейб-медик царя Блюментрост, ставший первым президентом Петербургской академии, как и его предшественник на придворном посту, продолжал благоволить ловкому эльзасцу. В начале 1724 года он возложил на Шумахера исполнение «секретарского дела» и заведование денежными суммами новой академии.

Несмотря на то что юридически Шумахер не имел никакой власти, он, оказывая различные частные услуги двору и президенту, добился исключительно прочного положения в академии. Он постоянно не додавал жалование профессорам, умел их пересорить между собою, чтобы отвести от себя возможный удар. С этой целью советник академической канцелярии приближал к себе молодых академических служащих: например, будущего историографа Г.-Ф. Миллера, который, будучи студентом, по свидетельству Ломоносова, «ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привел их в немалые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными».

Сам не занимаясь наукой, Шумахер, однако, прекрасно знал психологию ученых и делал верную ставку на их непрактичность. Профессоры почти полностью оказались в цепких руках его, ибо, по точной характеристике Ломоносова, «приобыкли быть всегда при науках и не навыкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения». Искушенные в латыни, но не искушенные в интригах, ученые мужи окрестили Шумахера flagellum professorum (бич профессоров) и дальше прошений об отставке либо случайных жалоб на него в своем протесте не шли.

Вернувшись из Германии, Ломоносов, наряду с научными, сделал для себя несколько важных открытий практического свойства. Во-первых, он узнал, что именно Шумахер был повинен в «весьма неисправной пересылке денег на содержание» его, Виноградова и Райзера. Во-вторых, ему стала известна судьба остальных десяти выпускников Славяно-греко-латинской академии, с которыми в 1736 году он прибыл из Москвы в Петербург. Вот что писал он по этому поводу впоследствии: «По отъезде помянутых трех студентов за море прочие десять человек оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был туда вызван к ответу, и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда возвратясь в канцелярию, главных на себя просителей, студентов бил по щекам и высек батогами, однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтоб давали помяну-

тым студентам наставления, что несколько времени и продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие — Лебедев, Голубцов и Попов в переводчики, и прочие ж разопределены по другим местам, и лекции почти совсем пресеклись».

Постепенно для Ломоносова все яснее становились истинные цели Шумахера, методы его деятельности, а также масштабы материального и морального ущерба, нанесенного им академии. Советник академической канцелярии прежде всего стремился к деньгам. Он сделал своего тестя Фельтена главным экономом (то есть снабженцем) академии и втридорога оплачивал ему выполнение академических заказов из академической же казны. Четырех своих лакеев он устроил на должность служителей в Кунсткамере с жалованьем 24 рубля в год, на что к 1743 году в общей сложности было истрачено из академических сумм более 1400 рублей. Деньги, определенные на угощение посетителей Кунсткамеры (400 рублей в год), он присваивал себе и (опять-таки к 1743 году) «выставил» академию еще на 7000 рублей с лишком. И уж совершенно не поддаются учету доходы, полученные им от академической книготорговли. Шумахер не брезговал ничем.

Однако при всей тяжести его преступлений, совершенных по этой статье, они уступали в своей опасности для русской науки другим вредоносным действиям Шумахера, направленным на удушение молодых научных сил. В особую вину ему Ломоносов вменял, что «с 1733 года по 1738 никаких лекций в академии не преподавано российскому юношеству», что в 1740 году начавшиеся было «лекции почти совсем пресеклись», что в дальнейшем «течение университетского учения почти совсем пресеклось».

В погоне за наживой Шумахер умело разваливал академию. Как и все проходимцы, он в неопытной, но честолюбивой молодежи видел эффективную силу, призванную сыграть одну из главных ролей в его грязной игре и, прежде всего, — в подавлении умудренных «стариков», которые прекрасно знали ему цену. Громадные деньги, определенные Петром на просвещение «российского юношества», употреблялись на «затмение» его и развращение, широким потоком текли в карман человека, который, как писал Ломоносов, «за закон себе поставил Махиавелево учение, что все должно употреблять к своим выгодам, как бы то ни было вредно ближнему или целому обществу».

Если Ломоносов не мог простить Шумахеру четырех лакеев, кормившихся за счет академии, то в этом случае, когда дело шло о прямом вреде целой России, негодованию его не было предела: «Какое же из сего нарекание следует российскому народу, что по толь великому монаршескому щедролюбию, на толь великой сумме толь коснительно происходят ученые из российского народа! Иностранные, видя сие и не зная вышеобъявленного, приписывать должны его тупому и непонятному разуму или великой лености и нерадению. Каково читать и слышать истинным сынам отечества, что-де Петр Великий напрасно для своих людей о науках старался...»

Эти слова были написаны Ломоносовым за год до его смерти в «Краткой истории о поведении академической канцелярии», страстном обличительном документе, в котором этому административному «корпусу» во главе с Шумахером и его преемниками предъявлялось обвинение по семидесяти одному параграфу. Но и в 1740 годы Ломоносов был готов забить тревогу.

Вот почему, когда в январе 1742 года Андрей Константинович Нартов (1680—1756), главный механик академии, бывший токарь Петра I, представил в сенат несколько жалоб на Шумахера от академических служащих, Ломоносов был всецело на его стороне, тем более что и в этих жалобах один из основных обвинительных пунктов гласил: «Молодых людей учат медленно и неправильно».

Сенат, рассмотрев вопрос, командировал Нартова в Москву, куда в то время отбыла на коронацию Елизавета. 30 сентября 1742 года была назначена следственная комиссия по делу Шумахера, а 7 октября его взяли под стражу.

Никогда еще Шумахеру не было так трудно. Той страшной осенью он всей кожей своей ощутил, что одно дело, когда жалуются профессоры немцы, французы, швейцарцы, которых, в сущности, ничто, кроме их науки и окладов, не интересует,— и совершенно другое дело, когда протестуют эти русские, кровно заинтересованные не только в правильной выплате им их личного жалованья, но и в выяснении истинного характера его действий, в восстановлении полной картины его преступлений. Русские сотрудники академии обвиняли Шумахера с государственных позиций.

Почувствовав опасность, смертельную для своей карьеры, Шумахер принял самые энергичные меры. Его люди, которых он немало сплотил вокруг себя за двадцать лет

пребывания у «кормила» академии, хлопочут перед следственной комиссией о восстановлении патрона, называя жалобщиков «ничтожными людьми из академической челяди». За Шумахера заступается лейб-медик русской императрицы И.-Г. Лесток, выходец из Франции, подданный герцога Брауншвейг-Целльского,— международный авантюрист, деятельность которого оплачивалась несколькими европейскими государствами.

Шумахер пустил в ход весь арсенал своих грязных средств. Еще до того как была создана следственная комиссия, когда Нартов только отправлялся в Москву,— Шумахер, извещенный предателем из жалобщиков (им оказался академический канцелярист, некто Худяков), экстренно организовал чтение лекций для студентов академического университета, «для виду», как писал Ломоносов. Московские друзья Шумахера были тоже предупреждены и делали со своей стороны все возможное, чтобы вызволить его из беды. Наконец он наносит решающий удар: «... уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей,— писал Ломоносов,— кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтобы, улуча государыню где при выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он их заставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона (Лестока.— *Е. Л.*) указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему».

Шумахер был признан виновным лишь в присвоении академического вина на сумму 109 рублей 38 копеек. «Бич» ударил по самим жалобщикам.

Ломоносов близко к сердцу принял эту победу зла над добром, лжи над правдою. Более всего его возмутило поведение ученых, поддержавших советника канцелярии,— и прежде всего: профессора истории Миллера, профессора астрономии и конференц-секретаря Винсгейма и своего бывшего преподавателя физики Крафта (который, кстати, был родственником Шумахера), не говоря уже о подлом поступке канцеляриста Худякова.

Для Ломоносова вопрос стоял предельно благородно и просто: если Шумахер — злейший враг России (а это неопровержимо доказывалось фактами), то русский, оказавший ему услугу, достоин презрения; если Шумахер — злейший враг науки (что также безусловно подтверждалось), то ученые, защищавшие его, утратили не только свой нравст-

венный, но и профессиональный престиж. Ведь в ситуации с Шумахером требовалось лишь одно: беспристрастное проведение расследования, то есть выяснение истины, и если бы это было сделано, интересы России, русской науки, восторжествовали бы сами собой. Миллер, Винсгейм, Крафт оскорбили два самых высоких для Ломоносова понятия: Истину и Россию. К таким людям он был беспощаден. В своих отношениях к Миллеру Ломоносов до самой смерти не смог преодолеть сильнейшей неприязни (несмотря на то, что этот ученый впоследствии довольно страстно выступал против Шумахера). То же чувство он испытывал к Крафту и Винсгейму.

Не имея возможности восстановить справедливость, прямодушный Ломоносов не считал нужным скрывать свое отношение к противнику.

...Это случилось еще во время следствия над Шумахером. Утром 26 мая 1743 года Ломоносов явился в помещение Академического собрания и, увидев там Винсгейма, показал ему «непристойный знак из пальцев». Потом он прошел в Географический департамент и застал там своих бывших товарищей по Славяно-греко-латинской академии. Обратившись к ним, Ломоносов стал поносить Винсгейма, ставя, между прочим, под сомнение его астрономическую квалификацию:

— Я календарь и сам сочиню не хуже его!

Находившийся при этом адъюнкт географии И. Трускот попытался вмешаться и урезонить его. Тут Ломоносова прорвало:

— Ты что за человек? Ты, адъюнкт, кто тебя сделал? Шумахер! Говори со мною по-латыни!

Трускот — молчал.

— Ты, дрянь, никуда не годишься и недостойно произведен.

Дальше Ломоносов, по словам свидетелей, долго бранил Шумахера «и вором называл и прочих господ профессоров также бранил», а подошедшему Винсгейму пригрозил «поправить все зубы», если он скажет хоть одно слово.

На следующий день Винсгейм доложил Академическому собранию о «недостойных поступках» Ломоносова. Было решено передать дело в следственную комиссию. 28 мая Ломоносова вызвали на допрос. Он явился, но отвечать отказался наотрез, заявив, что «подчинен Академии наук, а не комиссии» и «по-пустому ответствовать» не намерен.

Комиссия отдала приказ арестовать Ломоносова, что было тут же исполнено.

Поведение Ломоносова в этом инциденте приводит на память его столкновение с горным советником во Фрейберге — Генкелем. Сейчас, как и тогда, Ломоносов менее всего был склонен раскаиваться в содеянном. По существу, он был прав: Шумахер был вором, Трускот не смог говорить по-латыни (что для ученого в ту пору было постыдно), а Винсгейм сам дискредитировал себя, поддержав вора. Единственное чем по-настоящему был удручен Ломоносов — это невозможностью продолжать свои исследования и лекции. В июне он пишет доношение с просьбой об освобождении из-под стражи (оставаясь, как и во Фрейберге, при своей оценке случившегося):

«В императорскую Академию Наук доносит тоя же Академии Наук адъюнкт Михайло Васильевич Ломоносов, а о чем мое доношение, тому следуют пункты:

1

Минувшего майя 27 дня сего 1743 года в Следственной комиссии били челом на меня, нижайшего, профессоры Академии Наук якобы в бесчестии оных профессоров, и по тому их челобитью приказала меня помянутая комиссия арестовать, под которым арестом содержусь я, нижайший, и по сие число, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций.

2

А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я, нижайший, других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я, нижайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении.

И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить и о сем моем доношении учинить милостивое решение.

Сие доношение писал
Адъюнкт Михайло Ломоносов
и руку приложил».

Замечательно в этом документе то, что Ломоносов оценивает свое положение, прежде всего, не с точки зрения личной обиды, но исходя из интересов государства. Тут не мелкое личное тщеславие ущемлено, а национальная гордость.

«Милостивого решения» не последовало. В трудную для себя минуту Ломоносов обращается к поэзии. 26 августа 1743 года он перелагает на русский язык содержание 143-го псалма, в котором он нашел созвучные своему настроению мысли и чувства:

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой;
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.

Вещает ложь язык врагов,
Десница их полна враждою,
Уста обильны суетою,
Скрывают в сердце злобный ков.

Только 12 января 1744 года сенат, заслушав доклад следственной комиссии, постановил: «Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных им продерзостях у профессоров просить прощения» и жалованье ему в течение года выдавать «половинное».

Как верно заметил один биограф Ломоносова, это была «последняя вспышка его молодости». Отбывая наказание, он о многом передумал, многое понял. Главный урок, вынесенный им из этой истории, заключался примерно в следующем: шумахерам, по сути дела, только на руку подобные взрывы искреннего негодования — посредственность легко, играючи расправляется с непосредственностью; у шумахеров нет ничего святого — им нечего терять, оттого они кажутся необоримыми; на поверку шумахеры трусливы и больше всего на свете боятся правды; правду следует отстаивать не перед ними — она им не нужна; правда нужна России, и в этом ее сила; поэтому надо всю свою деятельность построить так, чтобы правда (в самом широком смысле) стала ее достоянием: правда науки, поэзии, истории и, конечно же, и эта правда о шумахерах...

Отсюда отнюдь не следует, что Ломоносов отказался от непосредственной, каждодневной борьбы с «российскими

недоброхотами». Просто во всем, что он делал отныне, стало преобладать положительное начало. Он понял, что он полезнее для России, когда создает культурные ценности, а не тогда, когда находится на отсидке.

От войны партизанской он переходит к войне стратегической.

Прекрасно понимая, что его вес в академии, а через него — и всех русских, зависит, прежде всего, от его успехов на научном поприще, Ломоносов продолжает интенсивнейшую работу в этом направлении: пишет диссертации по физике и химии, занимается микроскопическими исследованиями, раньше Франклина приступает к изучению атмосферного электричества. Кроме того, Ломоносов обзаводится своими студентами, читает первые в России публичные лекции по экспериментальной физике на русском языке и т. д. В 1745 году он становится профессором химии (то есть действительным членом Академии наук). Его научный авторитет стремительно растет.

Но как раз в этом пункте решает нанести ему удар Шумахер. В июле 1747 года он направляет в Берлин на отзыв Леонарду Эйлеру две диссертации Ломоносова «О действии растворителей на растворяемые тела» и «Физические размышления о причине теплоты и холода» — в надежде, что оценка этих работ будет уничтожающей, и тогда...

Шумахеру пришлось пережить сильнейшее разочарование и досаду, когда в ноябре от великого ученого пришел следующий ответ: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств. При сем случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин Ломоносов».

Этот отрывок из письма Эйлера переведен самим Ломоносовым. Случилось это вот как. Когда пришел восторженный отзыв из Берлина, расстроенный Шумахер показал его ассесору канцелярии Г. Н. Теплову (доверенному лицу нового президента академии графа К. Г. Разумовского) и признался при этом, что в случае отрицательной оценки

диссертаций Ломоносова собирался использовать его в академии только как переводчика, а от профессорства отстранить,— теперь же, мол, этого сделать нельзя. Теплов тайком от Шумахера показал письмо Эйлера Ломоносову. Тот взял его на время, чтобы снять с него копию для себя (отсюда и перевод). Отдав письмо, Теплов испугался, что об этом станет известно Шумахеру, и, во избежание неприятностей, решил как можно скорее забрать злополучные листки обратно. Тогда к Ломоносову пришла, как писал он, «от Теплова цедулька, чтобы аттестат (то есть письмо Эйлера.— *Е. Л.*) отослать неукоснительно назад и никому, а особливо Шумахеру, не показывать: в таком он был у Шумахера подобострастии».

Двуличие Теплова смутило Ломоносова. Долго потом он присматривался к этому человеку. Григорий Николаевич был не без таланта, выказывал временами искреннюю заботу о русской науке, помогал продвижению соотечественников в академии. Будучи человеком близким к президенту, он мог тут сделать очень много. Но это двуличие... Эта дружба с Шумахером... Да ведь он «коварник», «лукавец»! Возможно, размышляя о Теплове, Ломоносов вспоминал канцеляриста Худякова, выдавшего Шумахеру планы Нартова, вспоминал тех пьяниц, которые за лишний глоток оболгали перед императрицей честного человека. Неужели же Шумахер неистребим? Неужели он — как та сулема, которую когда-то заставлял его растирать Генкель,— трешь ее в порошок, а она своим тлетворным запахом отравляет все пространство, входит в легкие, в кровь, жгучими слезами выступает на глазах?..

Трудно сказать, что приходило Ломоносову на память, когда он думал о подобных людях. Но вот его письмо к Теплову, где Ломоносов предстает перед нами в совершенно новом качестве, где он борется за человеческую душу, пропадающую по вине самого человека. Борется с точки зрения истины, выразителем которой он себя по праву здесь считает, с точки зрения России, ее пользы. Борется в надежде на то, что должна же быть в этом человеке «хоть крупица русского чувства» (как скажет много лет спустя герой повести Гоголя). И вот на эту-то «крупицу» — весь расчет Ломоносова:

«... Поверьте, ваше высокородие, я пишу не из запальчивости, но принуждает меня из многих лет изведанное слезными опытами академическое несчастие. Я спрашивал

и испытал свою совесть. Она мне ни в чем не зазрит сказать вам ныне всю истинную правду. Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве, что мне всего в жизни моей дороже.

Некогда... писали вы...: L'Académie sans académiciens, la Chancellerie sans membres, l'Université sans étudians, les règles sans autorité et au reste une confusion jusque à présent sans remède [«Академия без академиков, Канцелярия без членов, Университет без студентов, правила без власти и в итоге беспорядок, доселе безысходный»]. Кто в том виноват кроме вас и вашего непостоянства? Сколько раз вы были друг и недруг Шумахеру, Тауберту, Миллеру и, что удивительно, мне? В том больше вы следовали стремлению своей страсти, нежели общей академической пользе, и чрез таковые повседневные перемены колебали, как трость, все академическое здание. Тот сегодни в чести и в милости, завтре в позоре и упадке. Тот, кто выслан с бесчестием, с честию назад призван... Все сие производили вы по большей части под именем охранения президентской чести, которая, однако, не в том состоит, чтобы делать вышепомянутые перевороты, но чтобы производить дело божие и государево постоянно и непревратно, приносить обществу беспрепятственную истинную пользу и содержать порученное правление в непоколебимом состоянии и в неразвратном и беспрерывном течении...

На все несмотря, еще есть вам время обратиться на правую сторону. Я пишу ныне к вам в последний раз, и только в той надежде, что иногда приметил в вас и добрые о пользе российских наук мнения. Еще уповаю, что вы не будете больше ободрять недоброхотов российским ученым. Бог совести моей свидетель, что я сим ничего иного не ищу, как только чтобы закоренелое несчастие Академии пресеклось. Буде ж еще так все останется и мои праведные представления уничтожены от вас будут, то я забуду вовсе, что вы мне некоторые одолжения делали. За них готов я вам благодарить приватно по моей возможности. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю. Итак, ныне изберите любое: или ободряйте явных недоброхотов

не токмо учащемуся российскому юношеству, но и тем сынам отечества, кои уже имеют знатные в науках и всему свету известные заслуги! Ободряйте, чтобы Академии чрез их противоборство никогда не бывать в цветущем состоянии, и за то ожидайте от всех честных людей роптания и презрения или внимайте единственно пользе Академии. Откиньте льщения опасных противоборников наук российских, не употребляйте божиего дела для своих пристрастий, дайте возрастать свободно насаждению Петра Великого. Тем заслужите не токмо в прежнем прощение, но и немалую похвалу, что вы могли себя принудить к полезному наукам постоянству.

Что ж до меня надлежит, то я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял за них смолода, на старость не покину».

Ломоносов и его противники в академии... Ломоносов и враги истины, России... Сколько энергии ушло на составление обличительных документов, на ожесточенные схватки с этими пигмеями духа! Сколько напрасно потраченного времени, которое он мог употребить с пользой для русской науки, поэзии, хозяйства, народного образования и многих-многих других дел! Есть одна великая книга, небольшой отрывок из которой помогает в потрясающей конкретности и осязаемости представить себе весь драматизм положения Ломоносова в академии, всю трудность его существования рядом с шумахерами, таубертами, тепловыми (несмотря на его неизмеримое превосходство над ними). Вот этот отрывок из книги, которую он еще будучи студентом купил в Марбурге:

«Тонкие веревочки опутывали все его тело от подмышек до колен; руки и ноги были крепко стянуты веревочной сеткой; веревочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые волосы Гулливера были намотаны на маленькие колышки, вбитые в землю, и переплетены веревочками...

Гулливер скосил один глаз. Что за чудо! Чуть ли не под носом у него стоит человечек — крошечный, но самый настоящий человечек! В руках у него лук и стрела, за спиной колчан. А сам он всего в три пальца ростом. Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось еще десятка четыре таких же маленьких стрелков.

От удивления Гулливер громко вскрикнул. Человечки заметались и бросились врассыпную. На бегу они спотыка-

лись и падали, потом вскакивали и один за другим прыгали на землю.

Минуты две-три никто больше не подходил к Гулливеру. Только под ухом у него все время раздавался шум, похожий на стрекотание кузнечиков.

...Он собрал силы и попытался оторвать от земли руку. Наконец ему это удалось. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких веревочек, и поднял руку...

В руку, в лицо, в шею Гулливера разом вонзились сотни стрел. Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголки».

Человечки «всего в три пальца ростом», сильные своею мерзкой спайкой, вели планомерную атаку на Ломоносова. В 1764 году, когда он сам уже был советником академической канцелярии, директором Географического департамента, почетным членом Российской Академии художеств, членом Стокгольмской и Болонской академий,— то есть когда внешне положение его было на редкость прочным, — даже в эту пору наивысшего прижизненного престижа Ломоносов, по его собственному признанию, был «принужден беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков и претерпевать нападения почти даже до самого конечного своего опровержения и истребления». Вот почему не будет натяжкою сказать, что в жизни Ломоносова найдется немало минут предельного отчаяния, предельного истощения всех сил души, когда из сердечных глубин его вырывался стон человека, преданного на бессмысленные муки, беззащитного и одинокого:

Суди обидящих, зиждитель,
И от борющихся со мной
Всегдашний буди покровитель,
Заступник и спаситель мой...

Как брату своему, я тщился,
Как ближним, так им угождать
И сетуя об них крушился,
И слез своих не мог сдержать...

Доколе, господи, без гневу
На злость их будешь ты взирать?
Не дай, не дай ты львову чреву
Живот мой до конца пожрать!..

Хоть мирные слова вещали
И ласков вид казали вне,

Но в сердце злобу умышляли
И сети соплетали мне...

Мне пагубы, конечно, чая,
Все купно стали восклицать,
Смеяться, челюсть расширяя:
«Нам радостно на то взирать!»

Ты видел, господи, их мерзость:
Отмсти и злобным не стерпи,
Отмсти бессовестную дерзость
И от меня не отступи.

Подвигнись правдою святою,
Суди нас, господи, суди,
Не дай им поругаться мною,
Суди и мне не снисходи.

Какие поразительные стихи! Какая высокая трагедия души развертывается перед нами! Изначально добрая натура Ломоносова, верящая в добро, жаждущая подвига во имя добра и справедливости, оглушена, подавлена, поражена предательским коварством сил зла. Это переложение 34-го псалма. Многие русские поэты обращались к нему. Но ни один из них не сумел выразить с такою потрясающей силой отчаяние человека, озабоченного не столько личными неудачами, сколько удрученного непонятной, безумной радостью врагов добра и справедливости, людей без совести и чести, этих нравственных самоубийц, испытывающих удовлетворение от безбожного, вероломного удара по искренней и человечной душе, полагающейся на искренность и человечность всех и каждого. Это стихи не о личной обиде (как у других поэтов). Здесь обида не на, а за врагов. Эти слезы о них, это «сетование об них», это невольное сожаление о падших, отступившихся от «святой правды» — именно это и придает стихам Ломоносова тот особый, возвышенный трагизм, который отсутствует в других переложениях.

3

Он человек был в полном смысле слова...
Шекспир

Всегда были, есть и будут люди, для которых излить свои душевные страдания в словах — значит освободиться от них. Ломоносов — не из их числа. Он не мог удовлетворить-

ся ощущением своего нравственного превосходства над противниками, не мог бесконечно «сетовать об них», ждать, когда же в них самих пробудится стремление к «святой правде». Вновь и вновь вставала задача борьбы за правду. Ситуация же была такова, что без поддержки сильных мира сего даже частичная победа в этой борьбе была невозможна.

К 1750 году относится знакомство Ломоносова с графом Иваном Ивановичем Шуваловым (1727—1797), фаворитом Елизаветы Петровны.

Фамилия Шуваловых принадлежала к мелкому костромскому дворянству. Вряд ли они заняли бы то выдающееся положение в России середины XVIII века, если бы не женитьба Петра Ивановича Шувалова (двоюродного брата ломоносовского покровителя) на Мавре Егоровне Шепелевой — женщине сварливой, злобной и уродливой, которая вдобавок была старше его. Удачным же этот брак считался потому, что Мавра Егоровна была статс-дамою, весьма близкой к императрице (Елизавета, боявшаяся заговорщиков, окружила себя многочисленным женским штатом, в обязанности которого входило отвлекать ее ночью от сна). Будучи при всех своих недостатках женщиной неглупой, Мавра Егоровна имела довольно сильное и устойчивое влияние на императрицу в вопросах житейских. Муж ее быстро выдвинулся в число самых крупных деятелей при дворе. Чтобы укрепить свое положение, Петр Шувалов решил использовать молодость и красоту Ивана. Мавра Егоровна не преминула обратить внимание сорокалетней Елизаветы на двадцатидвухлетнего юношу. Через три месяца (в октябре 1749 года) И. И. Шувалов был уже произведен в камергеры. «Попал в случай», как тогда говорили.

Новый фаворит не стремился к политике. Его больше увлекали науки, поэзия, художества и вообще все изящное. Да и сам он был изящен. Женщины из придворного круга украшали своих собачек ленточками светлых тонов, так любимых им, а за глаза говорили: «Помпадур мужского рода». В такой оценке чисто по-женски доля правды перемешана с долею пристрастия. Не закрывая глаза на его истинное положение при дворе, должно отметить, что «кавалер и камергер» видел смысл своего существования не в одних удовольствиях роскоши. Он не был чужд и удовольствий ума.

Здесь-то как раз и пролегает психологическая граница, которая одновременно смежает и разделяет Шувалова и Ломоносова. Меценат много читал (Екатерина II говорила впоследствии, что всегда его видела с книгой в руках). Он брал уроки стихосложения у Ломоносова, наблюдал его научные опыты. Он подолгу жил за границей, особенно любил Италию. Он переписывался с Вольтером. И во всем этом он находил удовольствие. Для Ломоносова же наука, поэзия, искусство были делом и условием всей его жизни.

Есть большой искус представить отношения Ломоносова с покровителем таким образом, что ученый-де находился «под пятою вельможи». Это было бы глубоко неверно. Сословную дистанцию между ними, безусловно, надо учитывать. Но — Ломоносов был старше Шувалова на шестнадцать лет, стоял неизмеримо выше в культурном отношении и, конечно же, оказывал на молодого фаворита Елизаветы, тянувшегося к наукам и искусствам, весьма сильное и — о чем обычно забывают — благотворное влияние. Ведь по сути дела, только благодаря Ломоносову любовник императрицы, не занимавший никакого официального государственного поста, превратился фактически в министра просвещения тогдашней России. Ломоносов пробудил в Шувалове, насколько возможно, гражданское чувство. Все многочисленные письма Ломоносова к нему буквально пересыпаны настойчивыми напоминаниями о благе России, о необходимости постоянно служить этой великой цели, использовать любую возможность для «приращения наук» и т. д.

Все это были послания наставника к ученику. Причем, к ученику не безнадежному. Ведь Шувалов откликнулся на многое из того, чему его учил Ломоносов, дал ход его начинаниям, поддержал его в борьбе с Шумахером и другими «неприятельми наук российских». Нам, людям иной эпохи, бывает обидно когда мы узнаем, что честь основания Московского университета в течение более полутора веков приписывалась Шувалову, а не Ломоносову. Но сейчас, когда историческая справедливость восстановлена, нельзя забывать и о том, что Шувалов мог вообще не помогать Ломоносову в этом великом предприятии. И если Ломоносов сумел пробудить в Шувалове стремление ко всему, что выходило за круг его личных интересов, значит что-то такое «дремало» и в самом вельможе.

Их личные отношения определялись еще и тем, что Шувалов был баловнем судьбы, а Ломоносов ее избранни-

ком. Баловень мог многое себе позволить: например, быть запросто с избранником. Сохранился рассказ племянницы Ломоносова о частых посещениях Шуваловым ломоносовского дома на Мойке: «Дай бог царство небесное этому доброму боярину!.. Мы так привыкли к его звездам и лентам, к его раззолоченной карете и шестерке вороных, что, бывало, и не боимся, как подъедет он к крыльцу, и только укажешь ему, где сидит Михайло Васильевич, — а гайдуков своих оставлял он у приворотни»[6].

Избранник не имел права (причем не социального, но именно морального права) отвечать баловню в том же роде. Подчеркнем: тот факт, что Ломоносов, со своей стороны, сохранял дистанцию в отношениях с Шуваловым, обусловлен не «мужицким» происхождением его. Во-первых, в нем было высоко развито понятие о чести и достоинстве, а во-вторых, интересы России, живым воплощением которых он выступал, в равной мере не позволяли ему ударяться в амикошонство. Со стороны Ломоносова слишком много было поставлено на карту: судьбы русской словесности, науки, народного образования.

Но если баловень заходил в своей вседозволенности слишком далеко, если он, «как бы резвяся и играя» в своей досужей веселости ставил под угрозу личное достоинство и святые понятия, орудием которых выступал избранник, — последний разговаривал с баловнем (нет, не наравных!) с той высоты, на которую подняла его судьба. Пушкин верно заметил: «Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей».

Здесь довольно вспомнить известную историю о том, как Шувалов (не без намерения позабавить себя и знакомых) решил устроить в своем доме комедию «примирения» Ломоносова и поэта Сумарокова, которые находились в непримиримой вражде.

Прекрасно разобравшись в истинных мотивах, которыми руководствовался его покровитель, Ломоносов по возвращении домой написал ему свое знаменитое письмо:

«Милостивый государь Иван Иванович.

Никто в жизни меня больше не изобидел, как Ваше вы-

сокопревосходительство. Призвали Вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вы меня отозвали и тем поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! то есть сделай смех и позор, свяжись с таким человеком, от коего все бегают; и Вы сами не ради. Свяжись с тем человеком, которой ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмачество выше всего человеческого знания ставит. Тауберта и Миллера для того только бранит, что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и бог мне не дал злобного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав через многие случаи, и знаю, каково в крапиву... Не хотя Вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я Вам послушание; только Вас уверяю, что в последней раз... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающей и искусной, пускай делает пользу отечеству, я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, которой все протчие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне Вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, которой дал мне смысл, пока разве отнимет... Ежели Вам любезно распространение наук в России, ежели мое к Вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отечества прошениях, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Ожидая от Вас справедливого ответа, с древним высокопочитанием пребываю

Вашего высокопревосходительства
униженный и покорный слуга

Михайло Ломоносов.
1761 года.
Генваря 19 дня».

Как многозначителен в письме к баловню этот каламбур: «вы имеете ныне случай!» Как показателен этот органичный переход Ломоносова от личной обиды к «распространению наук в России»! Вернее, даже и не переход от одного к другому, но именно глубокое слияние одного в другом. Это письмо о личной обиде за русскую науку. Пафос его — воспитательный.

Тем отчетливее проступает высокая нравственность ломоносовского поведения в самом инциденте, который послужил поводом к письму. Ведь в тот январский день 1761 года, в елизаветинском Петербурге, в одном из красивейших и богатейших домов России, в светлом о семи окнах кабинете, в котором радушный хозяин так часто любил сиживать в большом кресле у столика изящной работы в окружении книг и друзей, — в этой обстановке, где все радовало взор, все располагало к возвышенным мыслям о человеке, о величии его разума, о красоте его деяний, — совершалось элементарное попрание человека разумного, его унижение, в котором просвещенная компания находила род удовольствия.

Безнравственность происходящего состояла в том, что никто из присутствующих, за единственным исключением, не считал себя тем, чем он являлся на самом деле. Это был маленький спектакль с четким распределением ролей между участниками: ради восстановления спокойствия на «российском Парнасе» «российский Меценат» мирил «российского Расина» (Сумарокова), с «российским Мальгербом» (Ломоносовым) в присутствии «российских любителей художеств». И только Ломоносов захотел остаться Ломоносовым. Не подыграл!

Отсюда, конечно, не следует, что, скажем, Сумароков, в отличие от Ломоносова, был лишен чувства собственного достоинства. Потомственный дворянин, он впитал в себя понятия о достоинстве, о чести с молоком матери. Он даже выступал в те годы одним из виднейших идеологов русского дворянства, писателем, в полном смысле слова формировавшим моральный кодекс служилого сословия: достаточно прочитать его сатиры, оды, его трагедии, в которых он выступал восторженным и одновременно требовательным проповедником чести и личного достоинства русского дворянина.

Однако, несмотря на все это, Сумароков, как отмечал Пушкин, «был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шува-

лова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин... забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством».

Для писателя-классициста, резонера по преимуществу, сознательно делавшего в своем творчестве ставку на убеждение, на дидактику,— для *такого* писателя столкнуться с таким отношением к себе и своим идеям означало трагедию, катастрофу.

Сумароков попытался давать уроки и Екатерине II. Не ограничиваясь одами, где «воспитание» императрицы велось иносказательно, он одолевал ее записками, в которых излагал важные, с его точки зрения, политические мысли, мечтал увидеть в ней истинно дворянскую монархиню, то есть во всем послушную воле служилого сословия. Когда императрице стало совсем невмоготу от просветительских домоганий «русского Расина», она его урезонила: «Господин Сумароков — поэт, и довольной связи в мыслях не имеет».

Но несмотря на удручающее нежелание царицы считаться с его мнением, несмотря на сопротивление сословных братьев, упорно не хотевших перевоспитываться по его рецептам, Сумароков продолжал борьбу за свои идеалы с нечеловеческим напряжением всех сил души, благородно отвергая всякий компромисс, всякую возможность (хотя бы для себя!) поступиться этими идеалами. Он боролся, как *трагический герой классицистской пьесы*, а в глазах окружения он выглядел персонажем классицистской *комедии*. В полном соответствии с канонами нормативной эстетики среда, к которой он обращался и во имя интересов которой он выступал, — эта среда ревизовала нравственно-философское содержание его литературной и общественной деятельности, «уценила» его на несколько порядков и из сферы возвышенной действительности перевела его в сферу действительности низкой.

Точно так же, как классицистский герой должен был в одном и том же доме, на протяжении одних и тех же суток, в общении с одними и теми же лицами решить роковую проблему, мучительный вопрос, от которого зависит его жизнь и смерть, — Сумароков был приговорен судьбою к отысканию истины «в пределах дворянского горизонта». А вернее — он *сам обрек себя на это.*

Спустя несколько лет после описанной сцены «примирения» в шуваловской гостиной, Сумароков в одной из статей дал четкое определение своего социального кредо, которое во многом помогает уяснить причины его нравственной катастрофы: «Рабам принадлежит раболепная покорность, сынам отечества — попечение о государстве, монарху — власть, истине — предписание законов. Вот основание общенародного российского благосостояния» («Первый и главный стрелецкий бунт», 1768).

При всем своем сострадании к мужику («Они работают, а вы их труд ядите»), при всей своей взыскательности к дворянам:

Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот — земли одушевленный ком.
И если не ясняй ум барской мужикова,
То я различия не вижу никакова,—

при всей своей способности стать выше сословных предрассудков (Сумароков женился во второй раз на своей крепостной), — при всем этом он отказывался видеть в «подлом народе» позитивную общественную силу. Активность «рабов», с его точки зрения, могла быть только разрушительной: «Прервала чернь узы свои: нет монаршей власти: скипетр и законы бессильны: властвуют и повелевают рабы: сыны отечества молчат и повинуются. Се мнимое естественное право, что все человеки равны!»

Вот почему, несмотря на бесчеловечные насмешки, которым поэт подвергался в домах вельмож, он вновь и вновь шел туда, вновь и вновь доказывал необходимость просвещения и нравственного перерождения дворянства, чтобы подвергаться новым издевательствам, сносить которые ему становилось все труднее и труднее...

Принципиально противоположный тип личности воплотился в Ломоносове. Правда, которую он нес, была шире и сильнее сумароковской. Он и сам, как человек, был шире и сильнее. Это точно зафиксировано у Пушкина: «Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: в доме, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где... не смели при нем пикнуть».

Ломоносов и в напудренном парике оставался помором: человеком гордым, прямодушным и сильным. Как и положено помору, он требовал от домашних беспрекословного

повиновения. В 1743 году из Марбурга в Петербург прибыла его жена Елизавета-Христина Цильх. Теперь ее звали Елизавета Андреевна Ломоносова. Мы помним, как трудно жилось ему в то время: стычки с партией Шумахера, «половинное жалование»... Но несмотря на это, Елизавета Андреевна, надо думать, не испытывала разочарования от того, что приехала к мужу. Он был молод и полон надежд, многие из которых вскоре стали сбываться. Строгость свою в доме он проявлял, скорее всего, тогда, когда домашние мешали ему заниматься его научными и литературными трудами. Ибо во всем, что касалось устройства своего быта, судя по имеющимся данным, Михайло Васильевич и Елизавета Андреевна были одинаково невзыскательны. Вот что писал по этому поводу тот же Пушкин: «В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредиаковский, Василий Кирилович,— вот этот был почтенный и порядочный человек».

В своем месте уже говорилось о более существенных различиях между Тредиаковским и Ломоносовым. Если бы все питали к Василию Кирилловичу хотя бы крупицу того уважения, каким отметила его старая профессорша! Но в то суровое время завоевывать себе уважение, отстаивать свое достоинство надо было иначе, надо было ни на вершок не поступаться своими убеждениями, надо было обладать твердостью духа, а подчас и почти атлетической силой.

Академик Я. Я. Штелин, много лет знавший Ломоносова, привел в своих воспоминаниях один интересный эпизод, показывающий, что последнего никогда не покидало присутствие духа, что он готов был к любым поворотам судьбы, — и суровому веку ни разу не удалось, если так можно выразиться, застать его врасплох. «Будучи адъюнктом Академии, — пишет Штелин, — жил он на Васильевском острову при химической лаборатории и мало имел знакомства с другими. Однажды в прекрасный осенний вечер пошел он один-одинехонек гулять к морю по большому проспекту Васильевского острова. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться, и он проходил лесом по прорубленному проспекту, выскочили вдруг из кустов три матроса и

5 Заказ 1297

напали на него. Ни души не было видно кругом. Он с величайшею храбростию оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но даже долго не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что он весь в крови изо всех сил побежал в кусты; а третьего ему уж не трудно было одолеть; он повалил его (между тем как первый, очнувшись, убежал в лес) и, держа его под ногами, грозил, что тотчас же убьет его, если он не откроет ему, как зовут двух других разбойников и что хотели они с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить и потом отпустить. «А! Каналья! — сказал Ломоносов, — так я же тебя ограблю». И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел своим собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полунагого матроса по ногам, так что он упал и едва мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечо узел, пошел домой со своими трофеями, как с завоеванною добычею...»[4] Читаешь эти строки и ловишь себя на мысли о том, что, очутись в свое время Ломоносов на месте Тредиаковского, Волынский никогда не посмел бы избить его. Казнить мог бы, но избить и после этого заставить писать стихи к «дурацкой свадьбе» — никогда.

На иной взгляд может показаться, что Ломоносов потому и умел жить в суровом веке, что сам был не в меру суров. Однако же это не так. Ломоносов судил о людях, прежде всего, по их делам и уже в соответствии с этим строил свои отношения с ними. Он в первую очередь ценил в людях способность отдавать себя служению высокой цели, стремиться к ней, забывая о себе. Более высокой цели, чем общерусская государственная польза, для него не существовало. К тем, кто давал увлечь себя своекорыстному расчету и предавал интересы России забвению, он был не то что суров, но просто беспощаден. Если же человек всею жизнью доказывал, что он честно служит России, Ломоносов в полном смысле слова по-братски относился к нему. Здесь достаточно вспомнить то сострадательное участие, которое он принял в судьбе семьи покойного Г. В. Рихмана (1711—1753). «Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана!» — восклицал Пушкин.

Обстоятельства гибели профессора физики Петербургской Академии наук Георга-Вильгельма Рихмана, проводившего вместе с Ломоносовым опыты по изучению ат-

мосферного электричества, известны любому школьнику. Поэтому ломоносовское письмо к И. И. Шувалову, из которого мы узнаем подробности катастрофы, в данном случае должно привлечь нас не столько фактической своей стороною, сколько своим чисто человеческим содержанием.

«Сего июля в 26 число, — пишет Ломоносов, — в первом часу пополудни поднялась громовая туча от Норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие... Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а при том и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана весь в слезах и в страхе запыхавшись... Он чуть выговорил: *Профессора громом зашибло.* В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в Конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линеи с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу; а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен... И так он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет... Ему жалования было 860 руб. Милостивый государь! исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние господь бог Вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое. Между тем чтобы сей случай не был про-

толкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки...»

Но в этом письме обезоруживает не только подчеркнутое Пушкиным «добродушие» Ломоносова, не только его трогательная «податливость к сиротам», которую, как мы помним, односельчане отмечали и у его отца. Здесь интересно не только вполне понятное и вполне обоснованное его опасение, что трагический конец Рихмана недоброжелателями русского просвещения может быть «протолкован противу приращения наук». Поразительно в этом искреннем человеческом документе еще и то, что несмотря на всеобщее потрясение и горе (зрелище двух несчастных женщин, плач детей, «великое множество сошедшегося народа»), несмотря на собственную печаль о погибшем, несмотря на леденящую мысль о том, что и он сам бы мог разделить его участь, — несмотря на всю эту обстановку, казалось бы, никак не располагающую к подведению итогов научного эксперимента, сознание Ломоносова как бы помимо своей воли отмечает детали события, имеющие самое непосредственное и важное касательство к существу и задачам этого эксперимента: «красно-вишневое пятно видно на лбу», «вышла электрическая сила из ног в доски», «башмак разодран, а не прожжен», «электрическую силу отвратить можно»: «шест с железом должен стоять на пустом месте».

Ломоносовская мысль не знала покоя. Чем только не приходилось заниматься Ломоносову в академии! Химия, физика, инженерные и организационные заботы, поэзия, красноречие, астрономия, метеорология, история... Это была работа на износ. «Всяк человек, — писал он И. И. Шувалову, — требует себе от трудов упокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостьми или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался, затем что не нашел в них ничего, кроме скуки. Итак, уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение «Российской истории» и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо лекарства служить имеют и сверх всего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой».

Ломоносов оставил нам несколько поэтических свидетельств, в которых с подкупающей простотой и откровенностью поведал об усталости, временами овладевавшей его духом. Состояние духовного изнеможения и какой-то особенной грусти отразилось в ломоносовском переводе из Анакреонта (две последние строки добавлены Ломоносовым от себя):

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.

Долги... Это не только поэтический образ. В течение нескольких лет после приезда из Германии Ломоносов испытывал постоянный недостаток в деньгах. Вот некоторые известные примеры в подтверждение того, что кошелек его долго пустовал.

10 января 1741 года он подает в академическую канцелярию просьбу о выдаче ему денег «для покупки нужнейших в домашнем жилье нужд и содержания себя и покоев». 20 января 1742 года Ломоносов берет в академической книжной лавке в счет будущего жалованья планы Москвы и Петербурга ценою 50 копеек, а через две недели — книгу стихов немецкого поэта Галлера стоимостью 10 копеек. 19 февраля 1743 года он просит выплатить ему жалование за предыдущий год, «сколько Академия за благо рассудить может», ибо «претерпевает» «немалую нужду». Через три месяца — вновь доношение с просьбой выдать 10 рублей «для пропитания». Еще через два месяца Ломоносов просит выдать из невыплаченных в 1742 году денег жалованье за два месяца, так как испытывает «необходимую нужду в платье». Проходит еще два с половиной месяца, и Ломоносов — опять в канцелярии с просьбой о 30 рублях в счет жалованья. «Имею я, нижайший, — пишет он в доношении, — необходимую нужду в деньгах как на мое содержание, так и для платежу приезжим людям, которые на сих днях отсюду отъехать намерены и от меня платежу по вся дни требуют неотступно». В ноябре того же злополучного 1743 года Ломоносов опять просит выдать ему деньги «для

расплаты долгов» и для «пропитания». Через год он снова берет в академической лавке книги в счет будущего жалованья.

Даже ощутимая прибавка к окладу, последовавшая в 1746 году (сделавшись профессором, Ломоносов стал получать вдвое против прежнего, то есть 660 рублей в год), мало что изменила. Очевидно, сумма прежней задолженности была слишком велика. 1 октября 1746 года Ломоносов взял в долг у некоего купца Серебреникова 100 рублей, о чем дал ему «своей руки вексель», а в августе 1747 года он обратился в канцелярию с просьбой досрочно выдать ему жалованье за два месяца «для его крайних нужд».

Иного жреца «чистой» науки все эти из года в год не прекращающиеся «крайние нужды» могли бы повергнуть в отчаяние. Но не таков был Ломоносов. С его точки зрения, чистая наука есть чистый абсурд. Деятель культуры (в широком смысле) должен быть государственным деятелем. Иначе все, что он делает, пропадет втуне. В России (так же, как в Англии, Германии, Франции и других европейских странах XVIII века) надо было стать богатым человеком, чтобы двигать просвещение вперед.

Вот что писал по этому поводу сам Ломоносов: «Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример с его стороны Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток для умножения их гордости, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы, Волфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч и сверх того баронство, Слоана в Англии, который после себя такую библиотеку оставил, что никто приватно не был в состоянии купить, и для того парламент дал за нее двадцать тысяч фунтов штерлингов»[5].

Ломоносов сделал все от себя зависящее, чтобы стать человеком влиятельным и богатым, и не стыдился использовать для этого поддержку своих покровителей. Вот что писал Г. В. Плеханов об этой черте ломоносовской личности: «Что касается желания возвыситься, — то есть подняться выше по лестнице чиновной иерархии,— то оно вполне естественно было у человека, который стремился служить своей родине, но благодаря своему «подлому происхождению» не мог осуществить это благородное стремление без

поддержки «высоких особ». Чем больше возвысился бы он сам, тем меньше нуждался бы он в таком покровительстве. Таким образом, желание возвыситься могло быть порождено самыми идеальными побуждениями»[6].

Через шесть лет после получения профессорского звания он, по указу сената, «за его отличное в науках искусство» получил чин коллежского советника с жалованьем 1200 рублей в год. Если бы этого не произошло, вряд ли бы он смог «поднять», например, такое сложное и дорогостоящее дело, как постройка Усть-Рудицкой фабрики по производству цветных стекол. Ведь ссуды, которые он брал для этого в Мануфактур-коллегии, исчислялись многими тысячами рублей, а ему (правда, с трудом) все-таки удавалось погашать их.

Стал ли он действительно богатым человеком, это уже другой вопрос. Не стал. Потому что, безусловно, будучи энергичным организатором производства (проектирование, строительство и налаживание технологии стекольного дела велось им самим), будучи талантливым предпринимателем, учитывающим конъюнктуру и конкуренцию (он сразу позаботился о получении пожизненной привилегии на производство и сбыт стеклянных украшений по всей России), — Ломоносов должен был, помимо всего этого, не забывать и о своих академических обязанностях, которые были так обширны. Можно не сомневаться, что, если бы Ломоносов употребил все свои силы только лишь на мозаику, стеклянную посуду и бисер, он стал бы (с его дарованиями и волей) одним из богатейших людей России. Но в его «душе, исполненной страстей» (Пушкин), не нашлось места для страсти к деньгам.

То же самое можно сказать и о стремлении Ломоносова стать влиятельным человеком. Влияние, служебный вес были ему необходимы не сами по себе (хотя толика тщеславия здесь, видимо, имелась), а для того, чтобы получить больше возможностей для утверждения его любимых идей. Став в 1757 году советником академической канцелярии (наряду с Шумахером и его зятем Таубертом), Ломоносов первым делом позаботился об улучшении состояния академического университета и гимназии,— и эта острейшая проблема, решение которой саботировалось в течение многих лет, сдвинулась наконец с места. Тысячи рублей, которые раньше текли в кошелек Шумахера и его клана, пошли на жалованье профессорам, читающим лекции, на книги и

учебные пособия для студентов и учеников, на их жилье, стол и платье. Ведь теперь какая-нибудь бумага по финансовым вопросам, прежде чем обрести силу документа, должна была иметь ломоносовскую подпись.

Вспомним начало 1740 годов: эти мытарства «российского юношества», эти пощечины Шумахера челобитчикам из студентов, эту гнусную историю с его же злоупотреблениями, закончившуюся поражением правдоискателей, эти унизительные извинения, которые вынужден был принести «нижайший» Ломоносов все тому же Шумахеру, его приятелю Винсгейму и его ставленнику Трускоту, когда всему академическому собранию было же ясно, что один из «потерпевших» точно вор, другой покрыл вора, а третий не в ладах с латынью... Теперь — «с Ломоносовым шутить было накладно», теперь в академии — «не смели при нем пикнуть».

Деятельность в академической канцелярии занимала у Ломоносова много времени. Но сознавая всю важность этой деятельности, ее благотворные последствия для русского просвещения, он не только терпеливо, но с кровной заинтересованностью продолжал ее. Вот как выглядел в это время рабочий распорядок Ломоносова за один месяц (берем май 1761 года):

2 мая. Присутствовал в Канцелярии.

3 мая. Присутствовал в Канцелярии.

4 мая. Присутствовал в Канцелярии, где попросил выделить на содержание студентов и гимназистов 400 рублей (просьба была удовлетворена). Присутствовал в академическом собрании, где обсуждались причины испарения ртути.

7 мая. Присутствовал в Канцелярии. Присутствовал в академическом собрании, где прочитал свою работу «Краткие размышления об испарении ртути».

10 мая. Присутствовал в Канцелярии.

13 мая. Присутствовал в Канцелярии.

15 мая. Присутствовал в Канцелярии, где рассматривался проект И. И. Шувалова об учреждении в разных городах Российской империи гимназий и школ. Здесь же сообщил, что он «в сей день» отправится в Ораниенбаум, где должен встретиться с великой княгиней Екатериной Алексеевной (будущей императрицей Екатериной II).

16 мая. Находился в Ораниенбауме.

17 мая. Присутствовал в Канцелярии, где распорядился исключить из гимназии учеников Баранова (за кражи) и Хаустова (за неуспеваемость).

18 мая. Присутствовал в Канцелярии, где распорядился ввести новый порядок снабжения студентов и гимназистов учебниками.

До 21 мая. Разрешил сотрудникам Академии Красильникову и Курганову производить наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца 26 мая на академической обсерватории и пользоваться ее инструментами. Вторично распорядился выселить профессора К.-Ф. Модераха из казенной квартиры. (Модерах был инспектором университета и гимназии. 24 апреля Ломоносов приказал Модераху передать все дела по университету и гимназии профессору С. К. Котельникову, «как россиянину природному, который бы имел большее попечение об учащихся, как о своих свойственниках». Передав дела другому лицу, Модерах автоматически терял право на казенную квартиру).

22 мая. Присутствовал в Канцелярии. Получив распоряжение Сената, предлагавшее Академии Наук допустить Красильникова и Курганова на академическую обсерваторию, вторично подтвердил свое разрешение им производить там наблюдения.

23 мая. Потребовал от Тауберта объяснения, почему он препятствовал Красильникову и Курганову вести наблюдения на академической обсерватории. Запросил профессора Ф.-У.-Т. Эпинуса (между прочим, одного из своих противников в академии), не испытывает ли он недостатка в инструментах, необходимых ему для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца.

После 23 мая. Получил от Тауберта письменное объяснение Эпинуса, почему нежелательно наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца на академической обсерватории Красильниковым и Баргановым, нашел его неосновательным и написал по этому поводу свои возражения.

25 мая. Дал указание Красильникову и Курганову, чтобы они, проводя на академической обсерватории наблюдение за Венерой, допустили туда же и Эпинуса, если он этого пожелает, а одного его на обсерваторию не пускали бы.

26 мая. Наблюдал на своей домашней обсерватории прохождение Венеры по диску Солнца и установил, что «планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, та-

ковою (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного».

27 мая. Начал писать работу «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской императорской Академии Наук майя 26 дня 1761 года».

29 мая. Присутствовал в Канцелярии. Распорядился обратиться в Камер-коллегию с просьбой ускорить предоставление сведений, необходимых при работе над новым «Российским атласом».

30 мая. Присутствовал в Канцелярии. Купил в книжной лавке Академии сборник стихотворений древнегреческого поэта Пиндара.

31 мая. Присутствовал в Канцелярии, где подписал распоряжение, предлагавшее напомнить Петербургской и Московской губернским канцеляриям, что они должны прислать Академии Наук свои ответы на ее географические запросы, необходимые для работы над «Российским атласом». По предложению Ломоносова Канцелярия приняла решение расходовать предназначенные на содержание академического университета и гимназии средства строго по прямому их назначению и только по его, Ломоносова, личному распоряжению[7].

Этот рядовой месяц академической службы Ломоносова показывает, как органично, можно даже сказать, буднично переплетались в его деятельности научные интересы с литературными и общественными, визит к великой княгине с заботами о снабжении студентов, открытие атмосферы на Венере с приказанием о выселении из казенной квартиры немецкого профессора и т. д. И так из года в год — почти ежедневное присутствие в академии, которое прерывалось лишь по нездоровью да во время ледоходов и ледоставов на Неве.

4

> Огонь—это абсолютное беспокойство.
>
> *Гегель*

Мы говорили о том, что в начале 1740 годов, сразу по возвращении из Германии, Ломоносов пережил колоссальную вспышку творческой активности, когда в его сознании

сверкнули десятки гениальных догадок и замыслов. Последовавшее десятилетие стало периодом воплощения их в действительность. Эта практическая реализация научных идей позволила Ломоносову в полной мере развить свои многосторонние задатки. Если раньше разговор шел о многообразии его творческих устремлений, то теперь следует говорить о широко разветвленных направлениях его деятельности. Причем направления эти внутри себя тоже были не однородны, не односторонни. Переводя на русский язык «Экспериментальную физику» Вольфа, он вводил в употребление массу новых терминов, не известных до него; создавая свое «Краткое руководство к красноречию», он выступал сразу и как ритор, и как крупнейший в России специалист по логике и психологии, и как поэт-переводчик; занимаясь одновременно физикой и химией, он закладывал основы науки будущего — физической химии и т. д. Так в процессе реализации один какой-нибудь замысел вызывал новый, одна идея порождала другую или сразу несколько, появлялась масса побочных идей, ассоциаций, догадок...

Эта взаимопроникаемость различных областей человеческого знания отражала, «копировала» реальную слиянность, реальное единство и причинно-следственную связь всех разнородных элементов окружающего мира.

«Природа крепко держится своих законов и всюду одинакова»... — с этим Ломоносов вступал в науку в 1741—1743 годах. Прошло пять лет, и в мае 1748 года в знаменитом письме Леонарду Эйлеру он сформулировал закон сохранения материи и движения, сделав, в сущности, очень простой вывод (который, однако, до него никому не пришел в голову): «...Все случающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Показательно, что, излагая именно *всеобщий* закон природы, Ломоносов не разделяет мир на физический и человеческий: ведь «природа крепко держится своих законов и всюду одинакова». Он, как всегда, предельно последовате-

лен и органичен. Мысль об изначальном единстве мира неразлучна с Ломоносовым: она лишь принимает более обобщенные формы, и кроме того, проявления ее в деятельности Ломоносова становятся более богатыми и впечатляющими.

...В 1746 году граф М. И. Воронцов привез из Рима образцы итальянской мозаики. Ломоносов живо заинтересовался ими и как человек с высоким эстетическим вкусом, и как ученый-химик, и как технолог, и как предприниматель. Явилось желание воспроизвести эти образцы. Однако итальянцы строго хранили секрет изготовления смальт (непрозрачных разноцветных стекол). На Руси технология их производства была давно забыта (вспомним «киевскую муссию»). Ломоносов твердо решил, что в таком случае он разработает свою собственную технологию изготовления цветного стекла. В сентябре 1748 года после долгих проволочек была наконец создана (по настоянию Ломоносова), первая в России Химическая лаборатория, и Михайло Васильевич в течение трех лет все свое свободное время отдает напряженнейшей работе по отысканию наиболее эффективного и практичного способа окраски стекол. Более 4000 опытов поставил он, прежде чем добился наконец успеха. Ему, например, удалось найти свою технологию получения рубинового стекла, окрашенного соединениями золота (до Ломоносова золотые рубины умели делать древние ассирийцы, еще при царе Ассурбанипале да один немецкий химик XVII века, скончавшийся в 1703 году, однако и после них не осталось никаких рецептов; на Западе только в 40-е годы XIX века вновь начали производить золотые рубины).

Но одною лишь химией дело не ограничилось.

Ломоносов создает художественную мастерскую по изготовлению мозаичных картин. Он ведет длительные хлопоты по устройству отечественной фабрики цветного стекла, о которых уже говорилось. Но и это еще не все. Параллельно со стекольным производством и созданием мозаик Ломоносов занимается разработкой некоторых важнейших проблем оптики: как в сугубо научном (теория света и цвета), так и в прикладном плане (изготовление оптических инструментов).

Прекрасны летни дни, сияя на исходе,
Богатство с красотой обильно сыплют в мир;
Надежда радостью кончается в народе;

Натура смертным всем открыла общий пир...
Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елисавет;
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов,
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет...
Ты будучи в местах, где нежность обитает,
Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды,
Воспомяни, что мой покоя дух не знает,
Воспомяни мое раченье и труды.
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь:
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.

Эти стихи были написаны Ломоносовым в 1750 году, в самый разгар его работ. О чем, кроме усталости, думал он, глядя на огонь, «меж стен» своей маленькой лаборатории? Какие мысли, сопоставления, догадки высвечивало пламя стекловаренной печи, в его бездонной памяти, в заповедных глубинах его духа, не знающего покоя? Огонь на его глазах творил чудеса: твердые тела становились жидкими, выделяя в пространство толику своего вещества, вбирая в себя элементы веществ чуждых и составляя в итоге новое материальное единство, качественно отличное от исходных частей. Но, пожалуй, не этому удивлялся Ломоносов, уже открывший «всеобщий закон природы» (хотя непосредственность, способность удивляться никогда не покидала его). Да, чудо было не в том, что соединения кремния вкупе с соединениями золота, пройдя через горнило, становились огненно-красными рубинами. Истинного удивления было достойно другое. Ведь не только же вещество плавилось в топке! Ведь живая и беспокойная мысль его необходимым ингредиентом тоже вошла в сплав: она дозировала вещество, она определяла температуры, она с самого начала направляла весь процесс. Прежде чем расплавиться в печи, вещество расплавилось в мысли. Линзы, отшлифованные из стекла, изготовленного им самим, и составленные в порядке, продуманном им самим, позволяли исследовать мельчайшие предметы (микроскоп), преодолевать мировое пространство (телескоп), видеть в темноте (его знаменитая «ночезрительная труба»). Ломоносов убеждался, что мысль его, в буквальном смысле слова, переплавившись в огне и приняв материальное обличие, становилась условием зарождения новых идей уже в других областях знания. Оптика, через посредство химии органично входила в биологию, астрономию... Мысль человеческая постоянно материали-

зуется. Вещи, созданные человеком, необходимо вбирают в себя духовное качество. В природе огонь соединяет, разлагает и вновь соединяет материю; в человеческом мире — мысль.

Размышления об огне приобретают у Ломоносова философскую форму. 6 сентября 1751 года он произносит в торжественном собрании академии «Слово о пользе Химии», где содержатся и такие строчки: «Огонь, которой в умеренной силе теплотою называется, присутствием и действием своим по всему свету толь широко распространяется, что нет ни единого места, где бы он ни был: ибо и в самых холодных, северных, близ полюса лежащих краях, середи зимы всегда оказывает себя легким способом; нет ни единого в натуре действия, которого бы основание ему приписать не было должно: ибо от него все внутренние движения тел, следовательно и внешние происходят. Им все животные и зачинаются, и растут, и движутся; им обращается кровь и сохраняется здравие и жизнь наша... Без огня питательная роса и благорастворенный дождь не может снисходить на нивы; без него заключатся источники, прекратится рек течение, огустевший воздух движения лишится, и великий Океан в вечный лед затвердеет; без него погаснуть солнцу, луне затмиться, звездам исчезнуть и самой натуре умереть должно. Для того не токмо многие испытатели внутреннего смешения тел не желали себе почтеннейшего именования, как Философами чрез огонь действующими называться, не токмо языческие народы, у которых науки в великом почтении были, огню божескую честь отдавали, но и само Священное писание неоднократно явление божие в виде огня бывшее повествует. И так, что из естественных вещей больше испытания нашего достойно, как *сия всех созданных вещей общая душа* (курсив наш.— *Е. Л.*), сие всех чудных перемен, во внутренности рождающихся, тонкое и сильное орудие?»

Возможно, именно об этом думал Ломоносов, производя опыты со стеклом. Рожденное в огне, оно позволяло видеть мир не искаженным, во всей его полноте — от насекомых, едва различимых под микроскопом, до самых дальних звезд.

Кроме того, оно имело почти не оцененное в ту пору хозяйственное значение. Однако ж, как только Ломоносов заводил разговор о стекле, являлись многочисленные скептики и насмешники, потешавшиеся над той страстностью,

с которой он отстаивал свое «детище». Беда скептиков была как раз в односторонности их взгляда: они не могли и не хотели увидеть стекло в его материально-духовном единстве. Борясь за стекло, Ломоносов боролся за истину, ибо в те годы его представления об истине, — объективной, не искаженной никакими предрассудками («примесями»), в полном смысле слова не замутненной,— ассоциировались, прежде всего, со стеклом.

Чтобы выразить все это, а за одно и переубедить скептиков, показав в полном объеме те практические и духовные блага, которые заключены в стекле, Ломоносов в декабре 1752 года пишет небольшую поэму, полное название которой гласит:

ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ СТЕКЛА
К ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛУ-ПОРУТЧИКУ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КАММЕРГЕРУ,
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КУРАТОРУ
И ОРДЕНА БЕЛАГО ОРЛА, СВЯТАГО АЛЕКСАНДРА И СВЯТЫЯ АННЫ
КАВАЛЕРУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ,
ПИСАННОЕ В 1752 ГОДУ.

Обычно самый факт появления «Письма о пользе Стекла» связывают с хлопотами Ломоносова по устройству Усть-Рудицкой фабрики цветных стекол. Эта связь несомненна, и отрицать ее было бы просто наивно. Однако, на наш взгляд, неправомерно и преувеличение ее роли для создания поэмы. Ведь при таком подходе, вольно или невольно, значение «Письма» сводится лишь к талантливой пропаганде стекольного дела, а вся его сложнейшая мировоззренческая проблематика, высокий гуманистический пафос оказываются логически не связанными с темой[8].

Обратимся к тексту.

По началу разговор идет о Стекле, с которым каждый имеет дело в повседневной практике — то есть о стекле в предметном значении этого слова и о качествах, присущих ему как реалии. Такое стекло «знают» все — и пренебрегают им. Стекло как факт реального мира активно привлекает к себе лишь поэта: с парнасской высоты оно представилось ему не меньшей ценностью, чем золото или драгоценные камни. Неоднократные «спуски» с Парнаса утвердили автора в его предположении. Но среди людей популярна другая точка зрения на Стекло, с которой он никак не может согласиться.

Вот завязка той драмы идей, которая имеет развернуться в дальнейшем. Здесь элементы будущего образа даны отдельно один от другого: стекло как предмет и два противоположных мнения о нем, отражающие его двойственную природу, покамест не составляют художественного единства. Но уже на этом, по преимуществу понятийном, уровне произведения со всей очевидностью проявляется его основное, с точки зрения самодвижения художественной идеи, противоречие. Причем оно сразу же выступает как необходимо диалектическое. Ломоносов не ставит перед миром вопрос на «ребро»: Стекло вместо золота! Его точка зрения не нуждается в этом, ибо она — истина и, как таковая, включает в себя и «неправое» мнение в качестве обязательного момента своего собственного становления. Иными словами, те, новые, неизвестные людям качества Стекла, которые открылись ему, он не отрывает от уже известных — но рассматривает Стекло как совокупность старого и нового. Мир не однозначен, каждая вещь в нем сложна и многогранна, чревата множеством проявлений. С этой точки зрения в нем одинаково «правы» и золото и стекло: «не права» лишь людская односторонность. Природа преподает человеку азы гуманности. Пренебрегать стеклом — попросту аморально.

Однако для того чтобы эта истина стала активом читателя, ее надо показать так, чтобы он «открыл» ее сам. Как выдающийся оратор, Ломоносов прекрасно знал, что, если автор не сумеет создать у своей аудитории иллюзию импровизации, не привлечет ее к сотворчеству, — его произведение просто не состоится как явление искусства. Поэтому не случайно Ломоносов вводит предысторию образа в текст поэмы. Это интеллектуальная «разминка» для читателя, который активно вовлечен в творческую работу; поэма как бы рождается у него на глазах:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь;
И ныне от нея на верьх их возвращаюсь,
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но Стеклу.

Ломоносов четко обозначил рубеж, за которым начинается собственно-поэтический мир его поэмы. Он развивает-

ся по своим непривычным законам. Здесь действуют свои, необычные представления о материальных и духовных ценностях. Здесь свой отсчет времени: чтобы измерить его, нужны особые часы, на циферблате которых были бы отложены не минуты, но тысячелетия, — часы, которые могли бы идти и против часовой стрелки, когда это потребуется. Стекло здесь — не только одно из соединений кремния, но и «дар божественный», средоточие всех мировых связей.

«Я возвращаюсь на Парнас» — это сигнал читателю напрячь всю силу «совображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные». Только при таком условии и возможен дальнейший разговор, иначе мир, в который входит читатель, может показаться непонятным для его обыденного сознания. Ведь «купно» со Стеклом в его предметном значении здесь приходится «совобразить» и другие вещи, лишь в данном контексте «сопряженные» с ним: прочность истинного счастья, несокрушимую жизненную стойкость, перед которой бессильна даже самая грозная стихия — огонь:

Не должно тленности примером тое быть,
Чего и сильный огнь не может разрушить,
Других вещей земных конечный разделитель.
Стекло им рождено; огонь — его родитель.

С точки зрения житейской логики эти строки (так же, как и предшествующие им) полны несообразностей, натяжек. Обыденное сознание наивно полагает, что предмет, о котором идет речь, принципиально не может вызвать подобных ассоциаций. Читатель еще не подозревает, что как раз с этой его установкой на окончательную неоспоримость его суждения и ведется борьба. При этом Ломоносов прекрасно понимает, что близкий предел читательской «философии» положен ограниченным, несвободным представлением о самом предмете, который и становится ареной борьбы, местом, где сталкиваются два мнения. Это очень важное качество ломоносовского художественного мышления. Здесь Ломоносов глубоко оригинален: во главу угла ставится не логическая дискредитация чужой точки зрения на какое-либо явление реального мира, но изображение его.

У Ломоносова физическая стихия сразу же оказывается человечески опредмеченной:

Стекло им рождено; огонь — его родитель.

Мы присутствуем при сотворении художественного мира поэмы. Стекло вступает в новую систему связей. Художественное подтверждение «родительских прав» огня дается в своеобразной космогонии произведения.

Говоря в данном случае о ломоносовской «космогонии», мы не имеем в виду намекнуть таким образом на зависимость поэмы Ломоносова от произведений Гесиода, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла. Дело обстоит гораздо сложнее. «Письмо» — настолько емкий аккумулятор исторически предшествовавших стилей, что при желании в нем можно найти стилевые отголоски не только дидактического эпоса греков, — но и римской дидактической поэзии (Лукреций, Вергилий), сатирической поэзии средневековья (Клавдиан), героической поэзии Ренессанса (Камоэнс) и т. д. «Письмо» — первая русская поэма нового времени. Так же, как человек еще до появления на свет в кратчайший срок переживает всю историю Земли, — новая русская поэзия при своем зарождении вбирает в себя тысячелетний опыт мировой литературы.

Рационалистический миф Ломоносова о рождении Стекла (ст. 15—36) показывает, какую роль он отводил огню в своем произведении. О чем же говорит этот миф?

Вопрос, как и когда был создан мир, то есть вопрос о существовании чего-либо и кого-либо до мира, не стоит перед Ломоносовым. Мир всегда и везде заполнен «натурой». В ее лоне вечно противоборствуют два враждебных начала: огонь и вода. Борьба идет за овладение природой. Одна из этих сущностных сил — огонь — проявляет себя в мощном волевом акте:

С натурой некогда он произвесть хотя
Достойное себя и оныя дитя,
Во мрачной глубине, под тягостью земной,
Где вечно он живет и борется с водою,
Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
В которы Океан на брань к нему входил.
Напрягся мышцами и рамена подвинул
И тяготу земли превыше облак вскинул.

Огонь выступает как рациональное начало мира: он целеустремленно активен (порывается ввысь, «собирает силы», «напрягается», «подвигает», «вскидывает» — потому

что «хочет произвесть»), он почти различим («мышцы», «рамена») и все это — в противовес иррациональному Океану, который аморфен (известно только, что он — вода) и анархичен («борется», «выходит на брань» — и только).

Союз огня с натурой (которая сама по себе пассивна) — это единство, обретаемое в смертельной борьбе. Чтобы понять дальнейшее развитие внутреннего мира поэмы, очень важно уяснить, что стекло появляется на свет как результат мировой катастрофы:

Внезапно черный дым навел густую тень,
И в ночь ужасную переменился день.
Не баснотворного здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса;
Но Этна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разженная река текла в пучину,
И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!

Здесь мы, вдобавок ко всему, видим в Ломоносове гениального стилизатора: восприятие космоса как живого организма (о чем свидетельствует почти физиологически точное описание «чудных сил родов») очень близко к античной традиции (мифы, Гесиод). О подражании здесь не может быть и речи, ибо концептуально Ломоносов намеренно отмежевывается от старой мифологии («Не баснотворного здесь ради Геркулеса...»).

Рожденное в страшных муках, на пределе созидательных возможностей натуры и огня, когда весь мир находится на волосок от гибели, — Стекло выступает как проявление мировой сущности, которая, по Ломоносову, есть не что иное, как вечная борьба разумных и неразумных сил.

Стекло внутренне противоречиво. С одной стороны, Стекло — это отраженная улыбка природы: натура улыбается самой себе, своей счастливой судьбе вечно обретать начало в конце. Она передает Стеклу свое родовое свойство — пассивность. Поэтому Стекло нелицеприятно, равнодушно по отношению ко всему, что не есть оно само. (Пренебречь этим — значит заказать себе путь к пониманию ломоносовской концепции человека, ибо здесь дано обоснование коренной нравственной проблемы произведения — проблемы свободного выбора, которая именно в связи с появлением Стекла и встает перед людьми. Но об этом — ниже.)

С другой стороны, «дитя» наследует и по «отцовской» линии. «Абсолютное беспокойство» огня живет в Стекле на протяжении всей поэмы. Многочисленные видоизменения Стекла, казалось бы, приводят к тематической неразберихе. Стеклянная посуда, изделия из фарфора, мозаика, применение Стекла в устройстве оранжерей, различные виды украшений, порабощение индейцев, изготовление очков, борьба ученых с невеждами и лицемерами, крупные достижения в оптике (телескоп, микроскоп), использование Стекла в метеорологии и, наконец, опыты по изучению атмосферного электричества — все это связывается вместе какимто непонятным («чрезъестественным», как сказал бы Ломоносов) образом. Между тем если не забывать об «огненной» природе Стекла, то в этой тематической разноголосице обнаруживается глубокое единство. Многообразная жизнь Стекла в материальной среде есть не что иное, как явленная борьба огня с его вечными противниками: водою, мраком, холодом, небытием.

Применение Стекла в медицине означает торжество «здравия и жизни» над смертью.

Фарфоровая посуда — это знак победы огня над водою (так же как огонь в свое время

> Все силы собрал вдруг и хляби затворил,
> В которы Океан на брань к нему входил...

Стекло

> ...вход жидких тел от скважин отвращает).

Его неподверженность тлену и разрушению доказывают

> ...Финифти, Мозаики,
> Которы ввек хранят геройских бодрость лиц,
> Приятность нежную и красоту девиц;
> Чрез множество веков себе подобны зрятся
> И ветхой древности грызенья не боятся.

Применение Стекла в устройстве оранжерей приводит к победе огня над «несносным хладом»:

> Зимою за стеклом цветы хранятся живы.

Даже использование Стекла для украшений (бисер) осмысляется Ломоносовым в пределах оппозиции: тепло (то есть огонь) — холод. Обращаясь к «сельским нимфам», он пишет:

> Но чем вы краситесь в другие времена,
> Когда, лишась цветов, поля у нас бледнеют
> Или снегами вдруг глубокими белеют,

Без оных чтобы вам в нарядах помогло,
Когда бы бисеру вам не дало Стекло?

Что касается темы порабощения индейцев испанскими колонизаторами, то здесь Стекло выступает как антитеза небытию; жители Америки, отдавая предпочтение стеклянным украшениям, тем самым выражают свой, пускай пассивный, но — протест против смерти:

...гонят от своих бедам причину глаз.

Изготовление очков — это очередная победа огня над мраком, применение Стекла в метеорологии (барометр) — победа огня над Океаном (человек получает возможность «плавать по морю безбедно и спокойно»).

В основе той части поэмы, где повествуется о борьбе науки с невежеством, — все та же идея огня, с той лишь существенной разницей, что здесь разговор идет не о какой-либо частной победе огня, но со всей очевидностью проявляется неоспоримый факт его универсального господства во Вселенной. До сих пор мы имели дело с огнем, который живет «во мрачной глубине, под тягостью земною». Стекло явилось в мир как порыв (и порыв) его ввысь, на поверхность Земли. Теперь через детище земного огня устанавливается связь с огнем небесным. Отнюдь не случайно эта часть поэмы открывается образом Прометея, и глубоко закономерна (именно с точки зрения внутренней логики) просветительская модернизация античного мифа. Ведь в ломоносовской версии вот что важно:

Не огнь ли он Стеклом умел сводить с небес?..

Во всемирной истории, которую пишет Ломоносов, «сведение» небесного огня на Землю становится событием эпохального значения. Смыкаются нижняя и верхняя сферы мира: вселенная предстает «огненной» целостностью. Осмысление огня как бесконечности делает неизбежным прославление гелиоцентрической системы и сопряженной с ней идеи множества миров. В том, что именно Стекло подтверждает эту истину, — художественное оправдание былых усилий и упований огня «произвесть» потомство, достойное себя и натуры. Дитя сторицей воздает отцу, указывая всем и вся на его центральное положение в «истинной Системе» мира. Из глубин Земли на просторы Вселенной — таков путь огня в поэме.

Рассмотрим теперь нравственную проблематику «Письма». Главный вопрос здесь: в каких отношениях прослеженная эволюция Стекла в материальной среде находится к человеческой истории поэмы? Правильно ответить на этот вопрос можно, лишь уяснив, с чего начинается в ломоносовском произведении человеческая история.

В момент катастрофы, в результате которой рождается Стекло, масса людей — это масса «смертных», находящихся в полной зависимости от природных сущностных сил. Сама по себе борьба этих сил способна породить у «смертных» только страх («И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!»), но ее конкретный результат (то есть Стекло) вызывает иную реакцию — удивление:

Увидев, смертные, о, как ему дивились!
Подобное тому сыскать искусством тщились.

В состязании с природой люди «превысили» ее «своим раченьем». Только после этого масса «смертных» объединяется в родовое понятие «человек» (тоже «смертный», но превышающий мастерством природу).

Это место — философский узел поэмы. Стекло как воплощение победы огня над неразумным началом мира находит себе культурное соответствие в Стекле, сделанном руками людей в соревновании с природой. Создавая Стекло (то есть повторяя победу огня), люди выступают как союзники рационального мирового начала. Созданное ими Стекло, оставаясь частью природы, вбирает в себя и нечто человеческое, а именно: духовное качество. Оно поворачивается к миру сразу двумя сторонами — и материальной и духовной:

Из чистого Стекла мы пьем вино и пиво
И видим в нем пример бесхитростных сердец...

Стекло в напитках нам не может скрыть примесу;
И чиста совесть рвет притворств гнилу завесу.

Выше уже говорилось о том, как важно не упускать из виду пассивную сущность Стекла. От людей зависит сделать его активным элементом культуры.

Если подходить к Стеклу утилитарно, с точки зрения практической выгоды, то оно по сравнению, например, с золотом или серебром ничего не стоит. Но история знает примеры, когда предприимчивые люди за «стекляшки» вы-

менивали у иных «примитивных» народов и серебро и золото.

В Америке живут, мы чаем, простаки,
Что там драгой металл из сребреной реки
Дают европскому купечеству охотно
И бисеру берут количество несчетно...

Следовательно, при известном стечении обстоятельств Стекло может стать материальной ценностью, равной «драгому металлу»? Да, если рассуждать меркантильно. Однако ж в поэтическом мире Ломоносова такая логика не подходит. Вот как он оценивает поведение индейцев:

Но тем, я думаю, они разумне нас...

В мире Ломоносова вещь становится ценностью лишь тогда, когда она одухотворена и способна одухотворять окружающее. Здесь нет «стекляшек». Есть Стекло, которое одновременно — и непритязательное украшение, и «чиста совесть», и «пример бесхитростных сердец», которое несет с собою в мир не «ломкость лживого счастья», а прочность истинного. Вот почему американские «простаки», по Ломоносову, совершают более выгодную сделку, чем пронырливое «европское купечество».

Что же касается моральных «привесков» к злату и серебру, то они показаны Ломоносовым в следующей, почти осязаемо жуткой картине, предваряемой скорбным возгласом:

О коль ужасно зло! на то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ли, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшел кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепого врага?
По тягостном труде, снесенном на пучине,
Где предал он себя на произвол судьбине,
Едва на твердый путь от бурь избыть успел,
Военной бурей он внезапно зашумел.
Уже горят царей там древние жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены подают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом и тиранством.
Иных, свирепствуя в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тираны,

Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтобы тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны
Бесчастные! или поистине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук!

Утилитарный подход к Стеклу есть зло, потому что означает утилитарный подход к культурным ценностям вообще, а это, по Ломоносову, недопустимо. Не случайно завоеватель изображается Ломоносовым как варвар, разрушающий древнюю культуру. Утилитаризм несет дисгармонию и разрушение не только в мир человека, но и в мир природы. Здесь вся природа возвращается в Хаос, в буквальном смысле слова «теряет голову»: мировой разум (то есть огонь) разрушает культурные формы («Уже горят царей там древние жилища...»), становясь фактическим союзником иррациональных сил; люди поступают наравне с животными (как вороны набрасываются на трупы); горы обрушиваются в глубину; живые завидуют мертвым; невинность и варварство равно погибают — вот итоги, которые подводит этой оргии разрушения Океан, выступающий в финале всей картины:

Оставив Кастиллан невинность так попранну,
С богатством в отчество спешит по Океану,
Надеясь оным вдруг Европу всю купить.
Но златом волн морских не можно утолить.
Подобный их сердцам борей, подняв пучину,
Навел их животу и варварству кончину,
Погрязли в глубине с сокровищем своим,
На пищу преданы чудовищам морским.
То бури, то враги толь часто их терзали,
Что редко до брегов желанных достигали,
О коль великой вред! от зла рождалось зло!

Ломоносов доводит до логического конца ограниченное представление обыденного сознания о пользе. С точки зрения Ломоносова вещь принципиально перестает быть полезной, если она служит только одному человеку. Такая вещь теряет свою ценность не только для общества, но и для самого владельца:

...златом волн морских не можно утолить.

Польза только тогда есть польза, когда она — польза для всех и каждого. Всякие поиски пользы только для се-

бя неизбежно приводят к отысканию ее противоположности:

О коль великий вред!..

В свете сказанного выявляется и глубокое понимание Ломоносовым проблемы зла. Злом он считает несвободу в двух ее главных разновидностях. Для него несвобода духовная является обязательной, неизбежной спутницей социальной несвободы. Кастиллан (то есть кастилец, испанский завоеватель), не будучи в состоянии выработать собственного свободного суждения о пользе, необходимо должен поступать как деспот и по отношению к другим, то есть быть вредным для них. Сам раб, он делает рабами и других. От одной разновидности зла происходит другая:

О коль великий вред! От зла рождалось зло!
Виной толиких бед бывало ли Стекло?

Поразительно это внезапное появление Стекла! Ведь в разбираемом отрывке оно присутствовало, но негативно. И вот теперь оно предстает перед людьми в тот момент, когда бунт темных, иррациональных сил грозит уничтожить художественный космос поэмы. Композиционно это появление Стекла соотнесено с его рождением и так же, как прежде, связано с мировой катастрофой. Если результатом былой катастрофы стало рождение Стекла, а также выход «смертных» из естественного состояния, то теперь для людей вопрос стоит об овладении миром, а для Стекла — о возрождении в качестве универсального средства познания (орудие овладения).

Опять-таки не случайно Ломоносов вводит далее краткий пассаж о «зрении» и об «очках». Читателю, если он плохо «видит», необходимо усилить «зрение ослабленных очей»; ибо

Померкшее того не представляет чувство,
Что кажет в тонкостях натура и искусство.

Ломоносов как бы намекает, что вещи, которые он собирается показать, сможет увидеть только человек с зорким взглядом.

История восхождения человека по ступеням познания возвращает нас в глубокую древность — все к той же «мифологической» эпохе, когда «из недр земных родясь, про-

изошло», «любезное дитя, прекрасное Стекло». (Просто удивительна эта последовательность Ломоносова: он настойчиво «предлагает» искать «пружину действия» произведения в одном и том же месте.) Прометей, по Ломоносову, первым из людей именно посредством Стекла овладел небесным огнем. Ему же первому из людей страдания за этот подвиг были отпущены полной мерой. Вся последующая история овладения огнем — история борьбы со «свирепыми невеждами».

В ломоносовской трактовке человека, подвижническая деятельность Прометея, Христа, Аристарха Самосского, Коперника и др. представляет вот какой интерес. Их предельное одиночество и мученическая судьба — это, по Ломоносову, вторичный момент. Они не могут не находиться в подобном положении, ибо они — духовно свободные люди, живущие среди рабов. Больше того, они сами идут на муки, так как в них любовь к истине преобладает над всеми остальными чувствами. При ближайшем рассмотрении истина оказывается гуманной в самой своей основе. Она состоит в признании и познании единства законов природы, что в конечном счете ведет к господству человечества во Вселенной:

> В благословенный наш и просвещенный век
> Чего не мог дойти по оным человек?

В свете этого качества истины, во всей их деятельности активное начало берет верх. Они не пассивные мученики, но борцы. Их борьба с врагами истины за людей, за их духовное освобождение, уже сама по себе есть истина. Борьба есть универсальный способ существования мира.

От страха перед земным огнем (незнание) — к овладению «огненной» Вселенной (знание): такова нравственная и познавательная перспектива, которая открывается перед Человеком поэмы.

Ближайшая земная задача, вытекающая из этого тотального вывода — эмпирическое постижение природы небесного огня, эффективное овладение им. И здесь залогом успеха — открытое Стеклом «огненное» единство мира:

> ...та же сила туч гремящих мрак наводит,
> Котора от Стекла движением исходит...

...зная правила, изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром...
Единство оных сил доказано стократно...

Художественная идея, получив последний мощный толчок изнутри, стремительно движется дальше и приближается вплотную к своему «порогу», за которым предмет поэмы подлежит освоению уже иными, не литературными средствами.

...с Парнасских гор схожу,
На время ко Стеклу весь труд свой приложу.

Для понимания внутреннего мира «Письма» первостепенное значение имеет его соотнесенность с реальным миром, «запрограммированная» автором, являющаяся конструктивным элементом замысла поэмы.

Подобно тому, как в архитектуре храма, высеченного в монолите скалы, единство эстетических и инженерных принципов заранее обусловлено внешними причинами (характером ландшафта, материала и пр.), — композиция ломоносовского послания обусловлена его эффективной включенностью в существующую борьбу идей. Здание храма — как эстетическое продолжение того массива, в котором оно высечено, — есть одновременно скала и не скала: оно выделяется в нем, но не из него, составляет с ним нерасторжимое целое.

Примерно в таком же отношении к своему материалу находится и ломоносовская поэма. С этой точки зрения она разделяет общую судьбу всех риторических жанров, которым, по словам М. М. Бахтина, «присущ открытый и композиционно выраженный учет слушателя и его ответа». Слушателем, возможный ответ которого учитывает Ломоносов, является, конечно же, не И. И. Шувалов (персонально к нему обращено не многим более десятка стихов из 440, он выступает лишь как условный адресат послания),— и даже не русское общество в целом. Ломоносовская поэма задумана и выполнена как реплика в вековом споре, в который вовлечено все человечество.

Посредством образа Стекла он восстанавливает перед современниками страшную картину многовекового надругательства над истиной и ее сторонниками — надругательства, от которого в конечном счете страдает все человечество. Ломоносов защищает и прославляет Стекло как пример оптимального отношения людей к миру и друг к другу, как конкретно-чувственное (особенное) проявление общече-

ловеческой пользы. Освобождая истину из-под гнета «свирепых невежд», он освобождает человечество. Подчеркнем: не только мысль о практическом применении Стекла в хозяйстве, не только мысль о возможностях, открываемых Стеклом перед наукой, лежит в основе поэмы (все это актуально для «Письма», но не исчерпывает его содержания). *Глубокая гуманистическая идея духовного освобождения всего человечества* — вот нравственная ось, вокруг которой вращается внутренний мир произведения, а если точнее — его миры. Эта идея по всем законам поэтической небесной механики вносит упорядоченность в их движение, не дает произведению распасться на отдельные части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Цари! Я мнил, вы боги властны...
Державин

Противоборство людей с темными силами природы, правды с ложью, добра со злом, культуры с варварством, человеколюбия с человеконенавистничеством, так грандиозно изображенное в «Письме о пользе Стекла», помогает уяснить глубинную философскую подоснову гражданственности ломоносовской поэзии. Из всех поэтических произведений Ломоносова наибольшим гражданским пафосом отличаются его знаменитые похвальные оды. Уже само название жанра заставляет задуматься над спецификой и истоками ломоносовской гражданственности. Ломоносов как поэт-гражданин занимает особое место в русской поэзии. Мы приучены традицией к тому, что гражданственность начинается с обличения социальных ли, нравственных ли пороков, что страстное отрицание зла составляет самую суть ее. Однако Ломоносов не писал ни сатир (в отличие от Кантемира или, скажем, Сумарокова), ни обличительных посланий (как Державин или Фонвизин).

Созидание — благо, разрушение — зло. Такова общая мировоззренческая установка Ломоносова. Он менее всего был склонен отрицать нечто в окружающей действительности *с позиции* своего идеала: он *самый идеал* стремился утвердить. Это и только это должно было стать действительным, плодотворным отрицанием существующего в обществе зла. Одно лишь обличение социальных противоречий, одно лишь остроумное осмеяние порока не могло удовлетворить Ломоносова. Ему необходимо было положительное претворение в жизнь его грандиозных замыслов. Могут возразить, что ведь можно же и средствами сатиры,

и через остроумное осмеяние,— так сказать, методом от противного — утверждать идеал. Однако ж такое утверждение идеала страдало в глазах Ломоносова одним существенным недостатком: оно убедительно и впечатляюще показывало, как *не* надо жить, и не давало ясного понятия о том, как жить — надо. Ленин писал в «Философских тетрадях»: «Остроумие схватывает противоречие, *высказывает* его, приводит вещи в отношения друг к другу, заставляет «понятие светиться через противоречие», но не *выражает* понятия вещей и их отношений»[1].

Ломоносов, конечно же, не отвергал сатиру (достаточно вспомнить убийственно саркастический «Гимн бороде», высмеивающий церковников, где он дал исключительный по силе воздействия на общество образец истинно сатирической поэзии). Просто в его гражданской позиции пафос утверждения преобладал над пафосом отрицания. Дело в том, что социальный идеал его был в высшей степени демократичен и учитывал интересы не только привилегированных сословий, но и народных низов. Сумароков, например, исходил из того, что просвещать следует, прежде всего, истинных «сынов отечества», то есть дворян,— а уж они, просветившись и поставив превыше всего общегосударственную пользу, сами позаботятся о других сословиях. Ломоносов в принципе отвергал подобный подход, в котором все строилось на признании общественной и культурной неполноценности «подлого» народа. Просвещение широких народных масс, об исключительной важности которого не уставал твердить Ломоносов, было настолько грандиозной и актуальной задачей, что он попросту не мог позволить себе роскошь решать ее «способом от противного». Необходимо было скорейшее претворение идей в жизнь.

Не исключено, что в прохладном отношении Ломоносова к сатирическому освоению действительности сказалось и его «мужицкое» происхождение (над которым, кстати, постоянно иронизировал тот же Сумароков). В народной среде, конечно же, любили и веселую шутку и злое словцо. Но — на досуге. Когда идет работа, когда дело делается, «шутнику» (если он вздумает в *это* время отвлечь всех язвительными частушками и прибаутками) может сильно не поздоровиться.

Почти все русские поэты XVIII века считали свое творчество не только фактом собственной духовной биографии,

но и делом государственной важности. Того требовало время. Тредиаковский, к примеру, из последних сил старался доказать, что все его творчество насущно необходимо России. А это не всегда соответствовало действительности. Россия, например, не нуждалась в той прокрустовой системе правописания («ортографии»), которую он предлагал ввести. Однако ж Тредиаковский ни на минуту не мог допустить мысли о ее общественной бесполезности и самый отказ следовать ей воспринимал едва ли не как досадный просчет во внутренней политике России. Также и Сумароков каждую свою оду рассматривал не больше не меньше как очередной законопроект, выносимый дворянством на утверждение государыни, а сатиру или басню как судебный вердикт, наказывающий носителей тех или иных пороков (то есть людей, ведущих себя антиобщественно). Отсюда — его борьба на грани исступления за то, чтобы общество жило в соответствии с его, Сумарокова, указаниями. Вот почему для его сатирической поэзии было смерти подобно нежелание порочного общества менять свои привычки,— и он (как человек государственный) готов был даже отказаться от нее, лишь бы только порок понес достойное наказание. И вот в тот самый момент, когда катастрофический разрыв между мечтою и реальностью становился для него очевидным (то есть, когда выяснялось, что его сатира утрачивает свои права над реальностью), мучительное переживание этого разрыва исторгало из его сердца поистине потрясающие стихи:

Грабители кричат: бранит он нас!
Грабители, не трогаю я вас;
Не в злобе — в ревности к отечеству дух стонет;
А вас и Ювенал сатирою не тронет.
　　Тому, кто вор,
　　Какой стихи укор?
Ворам сатира то: веревка и топор.

Эти строки (предвосхищающие пушкинские «Бичи, темницы, топоры») интересны тем, что Сумароков здесь свое «понятие вещей и их отношений» высказывает не косвенно, не «от противного», а прямо, положительно. Общественно полезная рекомендация исходит в данном случае уже не от сатирического, а от лирического поэта. (В связи с этим интересно напомнить, что почти все крупные русские сатирики XVIII века — Кантемир, Сумароков, Фонвизин — пережили в конце своего творческого пути тяжелей-

ший духовный кризис, не в последнюю очередь связанный именно с односторонностью сатиры как средства художественного освоения действительности и воздействия на нее.)

Вот почему выдающейся заслугой Ломоносова следует признать то, что именно он сделал лирику (и оду как главный лирический жанр) полномочной представительницей гражданственного начала, которое в поэзии XVIII века было неотделимо от начала государственного. Здесь так же, как и во всем, проявилась исключительная самостоятельность Ломоносова-поэта.

В западноевропейской поэзии XVII—XVIII веков ода занимала довольно скромное место. Гораздо более общественно ценным жанром считалась сатира, (так писал сам Никола Буало в «Поэтическом искусстве»!). В России автором сатир стал Кантемир, старательно следовавший в своем творчестве теоретическим заветам Буало и его поэтической практике. Однако будучи человеком выдающегося ума и яркой индивидуальности, Кантемир умел придать своим сатирам самобытный характер. Он выступал в них не только как гневный публицист, обличающий невежество и мракобесие, но и как знаток общественных нравов, незаурядный педагог, тонкий художник-психолог, «искусный живописец людей порочных» (Жуковский). И все-таки сатира не стала в России тем, чем она была во Франции. Причин было несколько. Тут надо иметь в виду и то, что Кантемир даже после реформы Ломоносова—Тредиаковского упорно писал свои произведения силлабическим стихом, и то, что он рано покинул Россию (в 1732 году он выехал русским послом в Лондон и умер за границей), следовательно, был оторван от литературной и общественной жизни страны, и то, что сатиры его при жизни не были опубликованы, а распространялись в списках. Но главною причиной была русская действительность, которая властно требовала от поэтов не одной лишь дискредитации отрицательных сторон жизни, но и утверждения новых идеалов на расчищенном уже пространстве. «Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым», — совершенно точно замечено у Пушкина.

Первую в России оду в полном соответствии с западноевропейскими образцами написал Тредиаковский (и здесь упредивший Ломоносова, но не победивший его). Вышла она отдельной книжкой в 1734 году и называлась «Ода торжественная о сдаче города Гданска». В ней Тредиаков-

ский в качестве объекта для подражания выбрал оду Буало на взятие Намюра, канонизированную в Западной Европе как непогрешимый образец хвалебного жанра. Вот что писал Василий Кириллович по этому поводу: «Признаюсь необыкновенно, сия самая ода подала мне весь план к сочинению моея о сдаче города Гданеса; а много я в той взял и изображений,— да и не весьма тщался, чтоб мою так отличить, дабы никто не знал: я еще ставлю себе в некоторый род чести, что возмог несколько уподобиться в моей столь громкому и великолепному произведению... Что ж до моея, коль я ни тщался, однако, ведая мое бессилие, не уповаю, чтоб она столько ж сильно была сочинена, сколько Боалова, которой моя есть подражание. довольно с меня и того, что я несколько возмог оной последовать».

При таком подходе наши поэты вряд ли когда-нибудь решили бы задачу создания новой лирической формы, в которой можно было бы отлить положительные идеалы новой русской жизни. Необходима была самобытная практическая разработка этой проблемы, что и сделал Ломоносов.

Не менее Тредиаковского начитанный в западноевропейской поэзии, Ломоносов не пошел по пути рабского подражания: он привлек к рассмотрению и отечественную традицию хвалебной, так называемой «панегирической», поэзии XVII (Симеон Полоцкий и др.) и XVIII веков (Феофан Прокопович, Дмитрий Ростовский и др.). Но гораздо важнее было то, что Ломоносов во главу угла поставил не умозрительные рассуждения (в чем и кому подражать, что и у кого заимствовать, что «привнести» от себя и т. п.), а, прежде всего, ту сумму новых идей, творцом и выразителем которых он по праву себя считал. Именно это новое содержание, которое нес Ломоносов, само нашло свою форму, а встречающиеся в ломоносовских одах переклички с одами французскими и немецкими, с русскими панегириками отразились уже задним числом.

...Прежде чем перейти к разговору о содержании похвальных од Ломоносова — несколько фактов из истории Петербурга (зачем — станет ясно в дальнейшем).

Молодая столица почти с самого своего основания оказалась во власти стихий, и жизнь ее населения не раз подвергалась серьезной опасности. В 1706 году Петр писал

в письме князю А. Д. Меншикову из Петербурга: «Третьяго дня ветром вест-зюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм и по городу и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках. Однако ж не долго держалась: менее трех часов. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели — не точию мужики, но и бабы»[2].

Наводнения случались в Петербурге постоянно. Нева сносила мосты, размывала береговые укрепления. После описанного Петром I случая Нева выходила из берегов в 1713, 1715, 1720, 1721, 1725, 1726, 1729 и 1732 годах. 10 сентября 1736 года, когда Ломоносов, Виноградов и Райзер должны были отплыть из Кронштадта в Германию, Нева снова затопила весь Петербург.

По возвращении из заграницы Ломоносов сам не раз был свидетелем больших петербургских наводнений. В 1744 году пресловутый юго-западный ветер дважды (17 августа и 9 сентября) нагонял наводнения. 22 октября 1752 года, когда Ломоносов приступил к работе над «Письмом о пользе Стекла» (вспомним тему Океана в поэме), вода в Неве поднялась более чем на три метра, и весь город (за исключением той части, которая прилегала к Невскому монастырю) вновь был «по пояс в воду погружен», причем на этот раз вода держалась в течение 6 суток, и затопление сопровождалось жесточайшим штормом. При жизни Ломоносова Петербург еще четырежды страдал от наводнений: в 1755, 1756, 1762 и 1764 годах.

Бессмысленное, безумное свирепство водной стихии, наводившее на людей ужас, делавшее их существование непрочным, не могло не дать Ломоносову обильную пищу для размышлений: бунтующая вода представлялась ему аналогом всего буйного, не контролируемого, не подвластного разуму, всего темного и разрушительного в человеке.

Но не только частые наводнения, эти роковые приступы бешенства балтийской и невской воды, привлекали к себе внимание Ломоносова. Начальная история Петербурга знает несколько примеров ужасных пожаров, последствия которых были тем тяжелее, что на первых порах строения в столице были по преимуществу деревянными. Однако в отличие от наводнений, пожары в большинстве своем происходили не «от органических причин», а вследствие злого человеческого умысла (опять-таки вспомним, как в «Пись-

ме о пользе Стекла» Кастиллан, обуреваемый жаждой наживы, сжигает воздвигнутые индейцами «древние жилища»). Так, в 1710 году в Петербурге за одну только ночь дотла сгорел Гостиный двор, подожженный грабителями (11 человек были арестованы, четверо из них — повешены). 1 августа 1727 года сгорели все магазины вдоль невских берегов и множество смежных с ними домов, а также 32 баржи (с грузом на 3 миллиона рублей); при этом погибло около 500 человек, и вновь повинными в бедствии оказались злоумышленники. 11 августа 1736 года загорелся дом персидского посла, а от него вскоре вспыхнули все дома по берегу Мойки. Страшный пожар вновь обратил в пепел весь район Мойки 24 июня 1743 года. В том же году большие пожары были и в других частях города, и опять им предшествовали поджоги. В 1748 году пожары вновь участились (и вновь были найдены поджигатели). Бушевало пламя на петербургских улицах и в 1761 году и в 1763 году...

Идея борьбы гуманного и антигуманного начал, воплощенная в «Письме о пользе Стекла» в теме «брани» огня и воды (Океана), составляет основу нравственной философии Ломоносова-поэта. Та же идея, воплощенная в тех же образах, применительно к похвальным одам составляет основу ломоносовской гражданственности. Правда, здесь эта идея конкретизируется в противоборстве патриотических и антипатриотических сил.

Так, многолетнее господство иностранцев при дворе, направленное на подавление всего русского, это противоестественное, уму не постижимое господство, поселявшее страх в «искренних сердцах» «россиян верных», изображалось Ломоносовым как стихийное бедствие великого государства:

Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стенала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром,
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнить хребты гор с влажным дном.

Воцарение Елизаветы, положившее конец «оному ужасу», вселило уверенность и бодрость духа в русские сердца.

1/26 Заказ 1297

Теперь по отношению к враждебным России силам (опять-таки ассоциирующимся с водной стихией) патриоты настроены на активную, более того — отрадную борьбу. Сознание, что теперь эти силы в принципе могут быть подчинены России, наполняет сердце поэта радостью и благодарностью «виновнице» счастливых перемен — Елизавете:

Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

Что же касается самого образа России и ее монархини, которая выступает в одах Ломоносова последовательной защитницей патриотических интересов, то здесь мы находим поистине ослепительный ряд метафор, построенных на ассоциациях с огнем, светом, сиянием, блеском и т. п. Обращаясь к Елизавете, Ломоносов пишет:

Заря багряною рукою
От *утренних* спокойных вод
Выводит с *солнцем* за собою
Твоей державы новый год
. . . .
Блеснула на российском троне
Яснее дня Елисавет...
. . . .
Российско *Солнце* на восходе
В сей обще вожделенный день
Прогнало в ревностном народе
И ночи и печали тень
. . . .
Божественно лице *сияет*
Ко мне и сердце *озаряет*
Блистающим лучем щедрот!.. и т. д.

Пристрастие Ломоносова к образам огня и солнца заставляет вспомнить русские фольклорные традиции. Народ в своих песнях, былинах, сказках, поверьях отводил солнцу (небесному огню) исключительное место. Причем в народном творчестве дневное светило, как правило, является не только подателем жизни и всевозможных земных благ, но и «карателем всякого зла, то есть по первоначальному воззрению — карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла — неправды и нечестия»[3]. Аналогичное отношение к огненному началу мира встречаем и у Ломоносова. Россия в оде 1748 года говорит:

Се нашею,— рекла,— рукою
Лежит поверженный Азов;
Рушитель нашего покою
Огнем казнен среди валов.

Мысль о том, что огонь — всегда союзник справедливого начала, особенно драматически и впечатляюще выражается Ломоносовым в тех случаях, когда по роковому стечению обстоятельств огонь оказывается в руках неправедных людей, нравственно не достойных обладания им. Так, в оде 1742 года на прибытие Елизаветы в Петербург после коронации, описывая русско-шведскую войну, для характеристики шведов («готфов»), вероломно нарушивших мир, он использует древнегреческий миф о самонадеянном юноше Фаэтоне, который мнил себя достаточно сильным, чтобы править огненной колесницей отца своего Гелиоса, но в результате не смог удержать коней в повиновении и так низко спустился к земле, что едва не спалил ее дотла:

Но что страны вечерни тмятся
И дождь кровавых каплей льют?
Что Финских рек струи дымятся
И долы с влагой пламень пьют?
Там, видя выше горизонта
Всходяща готфска Фаэтонта
Против течения небес
И вкруг себя горящий лес,
Тюмень в брегах своих мутится
И воды скрыть под землю тщится.

Трагично, когда чистый факел справедливости, попав в руки злоумышленников, грозит уничтожить достижения человеческого разума. Во время пожара 1748 года, начавшегося от руки злоумышленников, загорелось здание Академии наук, и часть академической библиотеки была уничтожена. Некоторое время спустя Ломоносов писал:

Годину ту воспоминая,
Среди утех мятется ум!
Еще крутится мгла густая,
Еще наносит страшный шум!
Там буря искры завивает,
И алчный пламень пожирает
Минервин с громким треском храм!
Как медь в горниле, небо рдится!
Богатство разума стремится
На низ к трепещущим ногам!

Идея просвещения, необходимости выработать непоколебимые нравственные и социально-политические критерии,

которые позволили бы русскому государству вполне развить свои духовные и материальные ресурсы и привести в конечном счете к общественному благоденствию, становится главной идеей гражданской поэзии Ломоносова: огнем должны владеть честные и разумные люди и использовать его надо в гуманных целях, а не на удовлетворение слепых прихотей. Польза России выдвигается на первый план.

Образ огромной страны заполняет собою все художественное пространство похвальных од. Россия у Ломоносова

В полях, исполненных плодами,
Где Волга, Днепр, Нева и Дон,
Своими чистыми струями
Шумя, стадам наводят сон,
Седит и ноги простирает
На степь, где Хину (то есть Китай — *Е. Л.*) отделяет
Пространная стена от нас;
Веселый взор свой обращает
И вкруг довольства исчисляет,
Возлегши локтем на Кавказ.

Это страна нетронутых девственных лесов, неиспользованных природных ископаемых, полная всевозможных богатств:

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Она в буквальном смысле слова изнемогает по сильным, умным, энергичным хозяевам, по мудрым, многознающим ученым, которые открыли бы «неизвестные чудеса» «натуры» и поставили бы их на службу простым смертным:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Ломоносов ставит практические задачи перед каждой отдельной наукой. Он не может замкнуться в кругу абстрактных призывов к просвещению. Механика, геология, химия, география, метеорология — все эти области знания должны принести конкретную пользу России.

...О вы, счастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.

Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

Для претворения в жизнь грандиозных планов, выдвинутых Ломоносовым, был необходим — и он прекрасно понимал это — прочный мир. Вот почему трудно найти у Ломоносова оду, где он не прославлял бы «любезную», «возлюбленную тишину». Один из любимейших поэтических образов его — это образ радуги, которую по библейскому преданию бог воздвиг на небе в знак окончания всемирного потопа. Не исключено, что Ломоносов влагал в этот образ и свой особый смысл: ведь преломление солнечного света в водяных парах после грозы или бури означало для него гармоническое примирение извечных противников в его поэтическом мире — огня и воды. Светлая и радостная страна, насквозь пронизанная солнцем,— страна, в которой совершаются только мирные подвиги,— вот о какой России мечтал Ломоносов, когда призывал бога как бы от лица Елизаветы прекратить войны:

Иль мало смертны мы родились
И должны удвоять свой тлен?
Еще ль мы мало утомились
Житейских тягостью бремен?
Воззри на плач осиротевших,
Воззри на слезы престаревших,
Воззри на кровь рабов твоих.
К тебе любовь и радость света,
В сей день зовет Елисавета:
Низвергни брань с концев земных.

Но кроме «покоя» и «возлюбленной тишины», по глубокому убеждению Ломоносова, нужен был еще достаточно мудрый и энергичный государь. Здесь Ломоносов выступал

вполне на уровне социально-политических воззрений своего века. Однако в его концепции «просвещенного монарха» было и нечто свое, продиктованное не только размышлениями над нравственно-философскими трактатами ученых мужей, в которых излагались различные теории просвещенного абсолютизма, но и его поморским происхождением и его глубокой связью с народными представлениями о «добром» царе. Как помор Ломоносов мечтал не только о государе-философе или государе-праведнике, но и о государе-хозяине, крепком, рачительном, работящем, властном.

Он выдал авансом много похвал разным монархам и монархиням: Анне, Елизавете, Петру III — но никто из них и близко не подходил к его идеалу просвещенного государя — Петру Великому.

«Он бог, он бог твой был, Россия...» Эта одическая формула была расшифрована Ломоносовым в «Слове похвальном Петру Великому», написанном им в 1755 году: «Я в поле меж огнем; я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями; я в разных художествах между многоразличными махинами; я при строении городов, пристаней, каналов между бесчисленным народа множеством; я меж стенанием валов Белого, Черного, Балтийского, Каспийского моря и самого Океана духом обращаюсь; везде Петра Великого вижу, в поте, в пыли, в дыму, в пламени; и не могу сам себя уверить, что один везде Петр, но многие; и не краткая жизнь, но лет тысяча. С кем сравню великого государя!.. И так ежели человека богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю».

Ломоносов отмечает — как в высшей степени характерные для Петра черты — его мудрость, великодушие, мужество, правдивость, трудолюбие, его стихийный демократизм. «...Коль великою любовию,— писал Ломоносов о Петре-полководце,— коль горячею ревностию к государю воспалялось начинающееся войско, видя его в своем сообществе за одним столом, тую же приемлющего пишу; видя лице его, пылью и потом покрытое; видя, что от них ничем не разнится, кроме того, что в обучении и в трудах всех прилежнее, всех превосходнее».

Так за несколько десятилетий до Пушкина Ломоносов утверждал в русской литературе образ Петра — работника на троне. Без учета ломоносовского опыта в этом направ-

лении, пожалуй, вряд ли появились бы знаменитые строчки из пушкинских «Стансов» (1826):

> То академик, то герой,
> То мореплаватель, то плотник,
> Он всеобъемлющей душой
> На троне вечный был работник.

Восхищение Ломоносова личностью Петра, величием его деяний было поистине безгранично. В середине 1750-х годов он начал писать поэму «Петр Великий» (осталась незаконченной). Он даже собирался воздвигнуть величественный монумент в его честь. Современник Ломоносова писал: «Этот памятник в честь Петра Великого был бы одним из самых роскошных, даже, может быть, самым роскошным и драгоценным в Европе. Он занял бы от четырех до пяти сажен церковной стены, с заделкой одного окна, вблизи от места, где погребен этот монарх, при соответствующей высоте — до свода. Большую нишу, на фоне которой встанет памятник, должно было выложить сибирским лазоревым камнем. Пол у ступени у цоколя — из белого и черного сибирского мрамора, колонны и пилястры, так же как и саркофаг, из сибирской яшмы, капители и базы из сибирского металла, вызолоченного сибирским золотом. Аллегорические изображения и картины частью барельефами из сибирского мрамора и зеленой яшмы, частью мозаичные. Все из российских или сибирских материалов»[4].

Ломоносов мучительно искал среди преемников Петра хотя бы бледную тень его — и не находил. Вот почему так глубоко лично звучат его строки из переложения 145-го псалма:

> Никто не уповай вовеки
> На тщетну власть князей земных;
> Их те ж родили человеки,
> И нет спасения от них.

2

> Ломоносов был великий человек. Между Петром и Екатериною он один является самобытным сподвижником просвещения.
>
> *Пушкин*

15 июня 1764 года в «Санктпетербургских ведомостях» было помещено следующее сообщение: «...Сего июня 7 дня пополудни в четвертом часу благоизволила ея император-

ское величество с некоторыми двора своего особами удостоить своим высокомонаршеским посещением статского советника и профессора господина Ломоносова в его доме, где изволила смотреть производимые им работы мозаичного художества для монумента вечнославныя памяти государя императора Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты, чем подать благоволила новое высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в отечестве. При окончании шестого часа, оказав всемилостивейшее свое удовольствие, изволила во дворец возвратиться»[5].

Поводом к визиту Екатерины послужило избрание Ломоносова в марте 1764 года членом Болонской Академии наук за его работы в области цветных стекол и мозаики. Однако отношения Ломоносова с Екатериной к этому времени уже имели свою историю (вспомним его поездку в Ораниенбаум 15 мая 1761 года) и были — сложными...

Когда в 1762 году Екатерина пришла к власти, притихшие было Тауберт и другие противники Ломоносова (Шумахер умер в 1761 году) опять подняли голову и повели на него новую атаку, по-своему рассчитав, что его положение «человека Елизаветы», «человека Шуваловых» должно теперь пошатнуться. Поначалу так оно и было. После июньского переворота на противников Ломоносова в академии пролились немалые щедроты. Злейший враг Ломоносова, его коллега по академической канцелярии, Тауберт, который был на шесть лет моложе его и на три года позднее его получил чин коллежского советника, сделался статским советником. Это делало его в академической канцелярии старшим по отношению к Ломоносову. «Для Ломоносова,— пишут советские исследователи,— это было не вопросом личной обиды, а крушением надежд изменить соотношение сил в Академии наук»[6]. К тому же именно в это время Ломоносов только что перенес тяжелый и затяжной приступ болезни (связана с ногами, характер ее не ясен).

24 июля 1762 года, измученный духовно и физически, Ломоносов подал на имя Екатерины прошение об отставке. В тот же день он направил письмо графу М. И. Воронцову, где раскрыл причины, побудившие его к этому: «...ныне всего несноснее я обижен, что г. Тауберт в одной со мною команде, моложее меня, коллежским советником восемь лет, пожалован статским советником без всякой передо

мною большей заслуги, да лучше сказать, за прослуги и за то, что он беспрестанно российских ученых гонит и учащихся утесняет и мне во всех к пользе наук российских учиненных предприятиях всевозможные ставил препятствия. Итак, все мои будущие и бывшие рачения тщетны. Бороться больше не могу; будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой старости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления, но вовсе отставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке подал я челобитную...»

Ждать ответа на свое прошение об отставке Ломоносову пришлось около 10 месяцев. Между тем 28 января 1763 года ему стало известно, что президент академии граф К. Г. Разумовский, по наущению Тауберта и Теплова, распорядился, чтобы он передал руководство Географическим департаментом Миллеру. Наступление «недоброхотов», участившиеся боли в ногах, требования Мануфактур-коллегии возвратить ссуду в 4 000 рублей, взятую ранее на строительство стекольной фабрики (и просьбы об отсрочке платежа), ежедневные научные и литературные труды, работа над мозаичной картиной «Полтавская баталия»... Никогда еще Ломоносов не чувствовал себя так тяжело.

2 мая 1763 года императрица подписала указ о присвоении ему чина статского советника и о «вечной от службы отставке с половинным по смерть жалованием». Но уже 13 мая от нее приходит в сенат записка: «Есть ли указ о Ломоносова отставке еще не послан... то сейчас его ко мне обратно прислать». Ломоносов вернулся в академию. (Возможно, здесь сыграло свою роль заступничество Григория Орлова, который еще в июле 1762 года обещал Ломоносову помощь.)

Так или иначе, Екатерина II какое-то время колеблется в своем отношении к Ломоносову. Присматривается к нему. На одном из приемов Ломоносов вручил ей свой план мероприятий, необходимых для составления «Российского атласа». Наконец 15 декабря 1763 года императрица подписывает указ о «пожаловании» Ломоносова статским советником с окладом 1875 рублей в год.

В известном смысле это можно считать началом «потепления». Уже через десять дней, 25 декабря, просмотрев написанное Ломоносовым «Известие о сочиняемой Российской Минералогии», где излагалась широкая программа изучения и освоения природных богатств страны, Екатерина написала прямо на экземпляре своему статс-секретарю

Олсуфьеву: «Адам Васильевич! Прикажите дать Ломоносову все известия, которые у нас, и с рудами. А которых нет, прислать с заводов и сказать Шлаттеру (президенту Берг-коллегии.— *Е. Л.*), чтоб также с других заводов отпустили к Ломоносову»[7].

Можно с уверенностью предположить, что Екатерина первой из высоких особ, сама, без чьего-либо «предстательства», увидела и отчасти даже оценила в Ломоносове государственного человека. Ведь указание помочь ему в его геологических разысканиях говорит о том, что направление ломоносовской научной деятельности совпало с хозяйственными потребностями страны.

Мы не знаем, о чем беседовали Ломоносов и Екатерина 7 июня 1764 года, когда она смотрела его мозаики, но мы можем твердо сказать, что императрица не могла не увидеть в Ломоносове человека государственного склада ума, которому не было равных в России по грандиозности устремлений, основанных на глубоком знании страны, народа, потребностей хозяйственного и культурного развития, по кровной заинтересованности в процветании не одного какого-нибудь общественного слоя, но всего государства.

Конец 1750-х — начало 1760-х годов — это период дерзких начинаний Ломоносова, для которых характерен именно государственный уклон. «Узаконения для учащихся» (1759), представление в сенат о необходимости собрать «надежные и обстоятельные географические известия» «изо всех городов Российского государства», «отчего неотменно воспоследует не токмо Российской географии превеликая польза, но и экономическому содержанию всего государства сильное вспомоществование» (1759); записка «О сохранении и размножении Российского народа» (1761); «Общая система Российской минералогии» (1763); проект нового устава Академии наук (1764) и т. д. Это перечисление показывает, что в последние годы жизни Ломоносов выступал и как деятель просвещения, и как крупнейший социолог, и как выдающийся организатор науки. (Пожалуй, единственной государственной областью, в которой Ломоносов никогда не проявлял себя, было военное дело.)

Прав был Пушкин, по достоинству оценивший государственные качества ума Ломоносова, сказав, что Ломоносов «один является самобытным сподвижником просвещения» не между Тредиаковским и Сумароковым, или Кантемиром и Новиковым и т. д., но между Петром и Екатериной!

...В «диалоге» с императрицей Ломоносов коснулся не только хозяйственных и научных вопросов. Примерно через две недели после ее восшествия на престол он написал по этому случаю оду, в которой выразил перед новой государыней и свое нравственно-политическое кредо.

Никогда еще ломоносовские «уроки царям» не были столь глубоко продуманы. В его предшествующих одах Анне, Елизавете, Петру III говорил человек, искренне любящий Россию, авансом выдающий похвалы ее правителям, пекущийся о важных направлениях развития страны (и прежде всего, науки), но — человек более эмоционального, нежели государственного склада. Этот человек уже тогда выступал не от себя, но от лица всей нации. Однако в его выступлениях, при всей их страстности и в подавляющем большинстве случаев — глубине, не было организующего стержня, не было сквозной государственной идеи, в которой получили бы оправдание и высшее осмысление разочарования и упования России.

Вспомним «Оду на взятие Хотина», в которой, обозрев развитие русской истории от Грозного до Петра, Ломоносов уловил некую фундаментальную закономерность этого развития, понял, что все было «нетщетно», и воскликнул:

Восторг внезапный ум пленил...

С тех пор минула четверть века. Время восторга прошло, наступило время раздумий. И вот Ломоносов от лица всего народа выражает уже не эмоции, не отдельные пожелания, но идеи, в которых национальное сознание, оценив почти сорокалетний период от смерти Петра до воцарения Екатерины (период не менее драматичный, чем период, охваченный в «хотинской» оде), поднимается на новую ступень. Ломоносов, по сути дела, вновь восходит «не верьх горы высокой». Что же он видит теперь?

Краеугольным камнем государственного здания является, по Ломоносову, морально-политическое единство власти и народа:

О коль монарх благополучен,
Кто знает россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.

Ломоносов считает, что из русских монархов только Петр по-настоящему «знал владеть россами». Но если в «хотинской» оде Петр был удовлетворен ходом русской исто-

рии и полон надежд на будущее, то в 1762 году Ломоносов заставляет его произнести следующие горькие слова:

«Я мертв терплю несносну рану!
На то ли вселюбезну Анну
В супружество я поручил,
Дабы чрез то моя Россия
Под игом области чужия
Лишилась власти, славы, сил?..»

Анна и Бирон — это начало той цепи антинациональных государственных актов, которая при Елизавете оказалась отчасти ослабленной для «российских истинных сынов», но при Петре III, сведшим к нулю победы русских над Пруссией, вновь сковала их.

Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот!

Дело в том, считает Ломоносов, что Петр III (также, как Бирон) вероломно эсплуатировал одно из коренных свойств русского народа:

Российский род, коль ты ужасен
В полях против своих врагов;
Толь дом твой в недрах безопасен.
Ты вне гроза, ты внутрь покров.
Полки сражая, вне воюешь;
Но внутрь без крови торжествуешь.
Ты буря там, здесь тишина.

Но «российский род» тих и покорен внутри страны до известного предела и известной поры. Он может стать «ужасен» не только для внешних врагов, но и для внутренних. Вот почему, обращаясь к Екатерине с непосредственным назиданием, Ломоносов призывает вполне постичь это главное свойство вверенного ей народа и, если так можно выразиться, по-государственному уважительно отнестись к нему (ведь в конечном счете от этого зависит ее собственное благополучие и историческая репутация):

Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.

Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То бог благословит ваш дом.

Ломоносов ввел в свою оду несколько глубоко личных строф исключительной силы, посвященных господству в русской жизни людей типа Шумахера — принципиально чуждых России подлецов-приобретателей, озабоченных только собственной выгодой. Петр III низложен, но эти люди остались. Обращаясь к ним, Ломоносов гневно восклицает:

А вы, которым здесь Россия
Дает уже от древних лет
Довольство вольности златыя,
Какой в других державах нет,
Храня к своим соседям дружбу,
Позволила по вере службу
Беспреткновенно приносить;
На толь склонились к вам монархи
И согласились иерархи,
Чтоб древний наш закон вредить?

Вы не имеете права, продолжает Ломоносов, платить черной неблагодарностью за доверие и блага, оказанные вам, не имеете права глумиться над Россией

И вместо, чтоб вам быть меж нами
В пределах должности своей,
Считать нас вашими рабами
В противность истины вещей.

Если же такое, дикое, противоестественное злоумышление способно помрачить чей-то разум, то Ломоносов искренне советует:

Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте,
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя
В суде, в полках, в морях и в селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого олтаря.

Надо ли говорить о том, что Ломоносов не отличался ненавистью к иностранцам? Он был женат на немке, он неизменно восхищался гением Леонарда Эйлера, хранил самые теплые чувства к Христиану Вольфу, глубоко уважал профессора Георга-Вильгельма Рихмана или, например,

профессора логики И.-А. Брауна, «которого всегдашнее старание о научении российских студентов и при том честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны». Но он был беспощаден к врагам России.

Мысль о национальном достоинстве пронизывает всю оду 1762 года. Интересно, что ее последняя строфа (небывалый случай) посвящена не императрице, а русским участникам июньского переворота. Вот эти стихи, в которых Ломоносов, воспевая «орлов Екатерины», выступает непосредственным провозвестником державинской эпохи в русской поэзии:

Герои храбры и усерды,
Которым промысл положил
Приять намерения тверды
Противу беззаконных сил,
В защиту нашей героине
Красуйтесь, веселитесь ныне:
На вас лавровые венцы
В несчетны веки не увянут,
Доколе россы не престанут
Греметь в подсолнечной концы.

Высказанное в оде 1762 года Ломоносов решил подробно развить в личном разговоре с Екатериной, к которому он серьезно готовился в самом конце зимы 1765 года. Вот какие события непосредственно предшествовали принятию этого решения. В течение почти всего января 1765 года Ломоносов был болен и не появлялся в академии. 28 января он присутствовал в Академическом собрании, где предложил вместо выходившего до сих пор печатного органа академии «Ежемесячные сочинения», издателем которого был Миллер, выпускать новые — «Экономические и физические» (опять государственный уклон!). Собрание решило отложить рассмотрение этого вопроса. 16 февраля Ломоносов ознакомился с «доношением» Миллера в канцелярию, в котором говорилось, что-де он, Ломоносов, «продолжение «Ежемесячных сочинений» оспорил и на место оных предложил издавание экономических сочинений». Ломоносов подчеркнул в доношении слово «оспорил» и написал на полях: «И тут грубость и клевета. Иное предложить, а иное оспорить».

28 февраля он последний раз в жизни присутствовал в академической канцелярии — да и то потому только, что узнал о несправедливом увольнении «инструментального художества мастера» Филиппа Никитича Тирютина (род.

в 1728 г.), более двадцати лет верой и правдой служившего академии. Около трех часов потратил Ломоносов на то, чтобы доказать, что талантливого и честного инструментальщика увольнять за «ненадобностью» — преступно. Добился он только того, что Тирютину при увольнении дали хороший аттестат.

Это последнее посещение академии, считают исследователи, и стало непосредственным толчком к выводу о том, что только личная беседа с Екатериной может хоть как-то изменить положение дел в академии. Вернувшись домой, Ломоносов набросал план своего разговора с императрицей. Он всегда так поступал перед особо ответственными встречами.

Вот что писал Ломоносов за месяц до смерти (приводим лишь те пункты плана, которые вполне поддаются толкованию):

«1. Видеть Г[осударыню].

2. Показывать свои труды.

3. Может быть, понадоблюсь.

4. Беречь нечего. Все открыто Шлецеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев...

7. Все любят, да шумахершина.

8. Multa tacui, multa pertuli, multa concessi (Многое принял молча, многое снес, во многом уступил).

9. За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro aris etc. (за алтари и т. д.).

10. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют.

11. Ежели не пресечете, великая буря восстанет».

«Шлецер сумасбродный» — это Август Людвиг фон Шлёцер (1735—1809), молодой в ту пору и пронырливый историк, сторонник «норманской» теории происхождения русского государства, всего четыре года как приехавший из Германии по приглашению Миллера. Он быстро сошелся с Таубертом. Он даже в шутку называл себя «тайным советником» Тауберта. Тот его свел с Тепловым, а через последнего Шлёцер стал воспитателем детей президента академии К. Г. Разумовского. Так молодой и, правду сказать, небесталанный немец упрочил свое положение в академии.

Все бы ничего, но, во-первых, Шлёцер занимался предметом, особенно дорогим для Ломоносова — русской историей, и, во-вторых, он не скрывал, что его главная цель — «в Германии обращать в деньги то, что узнавал в России». На практике это означало, что Шлёцер, не пожелав принять русское подданство, хотел получить доступ к рукописным документам. Впоследствии в своих мемуарах Шлёцер писал: «Я полагал, что с величайшей точностью рассчитал дальнейший ход моего дела, каким бы случайностям оно ни подвергалось»[8].

Так оно, в сущности, и было. 5 января 1765 года Екатерина подписала указ о назначении Шлёцера профессором истории, где, между прочим, было и такое примечание: «Не только не возбраняется ему употреблять все находящиеся в имп. Библиотеке и при Академии книги, манускрипты и прочие к древней истории принадлежащие известия, но и дозволяется требовать через Академию всего того, что к большому совершенству поручаемого ему дела служить может»[9]. Ломоносов в специальной записке по этому поводу с негодованием писал, что такое дозволение «покрывает непозволенную дерзость допущения совсем чужого и ненадежного человека в Библиотеку российских манускриптов, которую не меньше архивов в сохранности содержать должно». Все это он, очевидно, и собирался высказать Екатерине в беседе с нею.

Теперь становятся в полной мере понятными его слова: «Все любят, да шумахершина». Внешние знаки внимания, оказываемые Ломоносову, в создавшейся ситуации даже досадны ему. Он пережил свое честолюбие. Покуда процветает «шумахершина» — злейший личный враг Ломоносова, представляющий исключительную и мало кем всерьез учитываемую опасность для русского государства,— не будет ему покоя.

«Шумахершина»-то и является главной темой предполагаемой беседы. Именно на ее фоне особенно мощно звучит в заметках Ломоносова личный мотив (пункты 8, 9, 10), не требующий разъяснения. За исключением, может быть, начала второй латинской фразы. Так же, как и первая цитата по-латыни, она взята из Цицерона. Полностью фраза выглядит так: Pro aris et focis certamen, то есть «Борьба за алтари и домашние очаги». Тут содержится, во-первых, самобытная и глубокая, как ни у кого из современников Ломоносова, оценка деятельности Петра I (вот ради чего, в

конечном счете, велась борьба) и, во-вторых, не менее глубокое указание Екатерине на будущее. Нравственная (и одновременно государственная) задача, которую ставит перед ней Ломоносов, заключается, следовательно, в том, чтобы сделать эту «борьбу за алтари и домашние очаги», за «достоинство россиян» краеугольным камнем всей русской политики, что будет невозможно, если эта «борьба» не станет личной потребностью императрицы. «Тауберт и его креатуры» протянули свою цепкую руку к чему-то неизмеримо большему, нежели русская наука или русская казна...

«Ежели не пресечете, великая буря восстанет».

Говорят, перед смертью человека посещают прозрения. Еще говорят, что перед смертью же человека особенно тянет на родину. План беседы с Екатериной набросан Ломоносовым на одном листке с планом устья Северной Двины, родных мест, где прошло его детство...

Живя в Петербурге, Ломоносов никогда не забывал своих земляков. Дом его всегда был открыт для них. Особенно отрадными стали для Ломоносова их наезды в столицу в последние годы его жизни. П. Свиньин, литератор начала XIX века, во время поездки в Архангельск в 1828 году встретился там с племянницей Ломоносова Матреной Евсеевной и записал ее воспоминания об этом времени. Вот что ему поведала старушка: «...она с удовольствием вспоминает о своем житье-бытье у дядюшки в Петербурге, в небольшом каменном домике, на берегу грязной Мойки. В особенности словоохотливо рассказывает она о гостеприимстве Михайла Васильевича, когда на широком крыльце накрывался дубовый стол и сын Севера пировал до поздней ночи с веселыми земляками своими, приходившими из Архангельска на кораблях и привозившими ему обыкновенно в подарок моченой морошки и сельдей. Точно такое же угощенье ожидало и прочих горожан, приезжавших по первому зимнему пути в Петербург, с трескою. Надобно заметить, что Матрена Евсеевна играла на сих банкетах немаловажную роль, ибо, несмотря на молодые лета свои, заведывала погребом, а потому хлопот и беготни ей было немало. Точно так же в жаркие летние дни, когда дядюшка, обложенный книгами и бумагами, писал с утра до вечера, в беседке, ей приходилось бегать в западню за пивом, ибо дядюшка жаловал напиток сей прямо со льду. Из слов старушки можно заметить, что поэт весьма

любил заниматься на чистом воздухе: в летнюю пору он почти не выходил из сада, за коим сам ухаживал, прививая и очищая деревья своим перочинным ножиком, как видел то в Германии. Сидя в саду или на крыльце, в китайском халате, принимал Ломоносов посещения не только приятелей, но и самих вельмож, дороживших славою и достоинствами поэта выше своего гербовника; чаще же всех и долее всех из них сиживал у него знаменитый меценат его, Иван Иванович Шувалов... «Бывало,— присовокупляет Матрена Евсеевна,— сердечный мой так зачитается да запишется, что целую неделю ни пьет, ни ест ничего, кроме мартовского с куском хлеба и масла».

Размышления и пылкость воображения сделали Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во время обеда вместо пера, которое он по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которою хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. Редко, бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песку...»[10].

Жена Ломоносова, Елизавета Андреевна, относилась к его родственникам и землякам с любовью и уважением. Точно также и дочь, Елена Михайловна, которой в 1765 году исполнилось 16 лет, не задирала нос перед своей двоюродной сестрой Матреной. Кроме племянницы, Ломоносов вызвал в Петербург и ее родного братца, восьмилетнего Мишу, и устроил его в академическую гимназию. Матерью их была ломоносовская сестра Марья Васильевна (дочь от последнего брака Василия Дорофеевича), вышедшая замуж за крестьянина села Николаевские Матигоры Евсея Федоровича Головина. Сохранилось письмо Ломоносова к ней:

«Государыня моя сестрица, Марья Евсеевна, здравствуй на множество лет с мужем и с детьми.

Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санктпетербург в добром здоровье и что умеет очень хорошо читать и исправно, также и пишет для ребенка нарочито. С самого приезду сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки и совсем одет с головы и до ног, и волосы убирает по-нашему, так чтобы его на Матигорах не узнали. Мне всего удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и нашему кушанью привык, как бы век у нас жил, не показал никакого виду, чтобы тосковал или плакал. Третьего дня послал я его в школы здешней Академии Наук, состоящие

под моею командою, где сорок человек дворянских детей и разночинцев обучаются и где он жить будет и учиться под добрым смотрением, а по праздникам и по воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочно смотреть, как он в общежитии со школьниками ужинает и с кем живет в одной камере. Поверь, сестрица, что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный. Также и хозяйка моя и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет. И с истинным люблением пребываю брат твой

Михайло Ломоносов.

Марта 2 дня
1765 года
из Санкт-Петербурга.

Я часто видаюсь здесь с вашим губернатором и просил его по старой своей дружбе, чтобы вас не оставил. В случае нужды или еще и без нужды можете его превосходительству поклониться. Евсей Федорович или ты сама.

Жена и дочь моя вам кланяются».

«Мишенька», сын Марьи Васильевны, оправдал надежды своего крестного отца. Поступив в академическую гимназию в год смерти Ломоносова, Михаил Евсеевич Головин (1756—1790) обучался впоследствии у Л. Эйлера, стал адъюнктом Академии наук по математике, а с 1786 года, когда вышел екатерининский указ о народных училищах, активно работал над созданием новых учебников и прославился как первый в России физик-методист, организовавший преподавание этого предмета в средней школе. Так что тысячи русских школьников в течение многих лет изучали естествознание по книжкам ломоносовского племянника.

Через два дня после того, как было написано письмо к сестре, здоровье Ломоносова резко ухудшилось. А еще через месяц, 4 апреля, он уже прощался с женой, дочерью и близкими — в полном сознании и совершенном спокойствии. В 5 часов вечера его не стало. Через четыре дня «при огромном стечении народа» (как признал Тауберт в письме к Миллеру) его хоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

3

Да, велико его значенье —
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему...
Тютчев

Говорят, перед смертью Ломоносов высказал опасение, что все его начинания умрут вместе с ним. Его энергичная и властная натура, всегда стремившаяся к исчерпывающему решению каждого вопроса, доведению до конца любого дела, не могла примириться с мыслью о том, что не он (не Ломоносов!) будет продолжать свои начинания. Также, как отец его когда-то волновался перед смертью, что накопленное им добро пойдет прахом, Ломоносов пуще смерти боялся, что без него «чужие расхитят» то духовное богатство, которое он для России «кровавым потом нажил».

«Мое единственное желание, — писал он в 1760 году, — состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы...» Воспитать как можно больше людей, которые так же, как и он, были бы нравственно стойкими, свободными и смелыми, способными на самостоятельные решения — иными словами, воспитать достойных наследников своего богатства, которые смогли бы приумножить его в дальнейшем — только так Ломоносов мыслил себе победу над смертью, грозившей погасить то пламя, что бушевало в недрах его неистового духа. Зажечь от своего огня как можно больше искренних молодых сердец, стать (вспомним «Слово о пользе Химии») «общею душою» всех будущих подвигов во славу русской культуры, ожить хотя бы искрой в малейшем деле, направленном на благо Отечества, — только так можно было получить право на бессмертие. И только такое бессмертие — не холодное, не абстрактное, но действительное, теплокровное, осязаемое, живое — только бессмертие во плоти устраивало Ломоносова. Именно в этом, с его точки зрения, заключался высший моральный смысл самой идеи бессмертия, рано или поздно посещающей каждого человека; все прочее — игра ума, самообольщение, ложь и безнравственность. Ломоносову мало было полностью выразиться в своих научных и художественных созданиях. Он понимал, что его великое наследие будет мертво, если за ним не придут «многочисленные Ломоно-

совы» и не извлекут из него максимум пользы для России. Жизнь оказалась бы прожитой только ради себя. Более безнравственной и фальшивой жизни Ломоносов не мог себе представить.

Вот почему он из последних сил стремился заложить прочные основы народного образования в России, создать ядро отечественных научных и литературных кадров. Под руководством Ломоносова воспитались многие знаменитые деятели русской культуры: поэт и переводчик, профессор Московского университета Н. Н. Поповский (1730—1760), философ, переводчик и выдающийся математик, также профессор Московского университета А. А. Барсов (1830—1891), поэт и переводчик И. С. Барков (1732—1768), ученый натуралист и путешественник, академик И. И. Лепехин (1740—1802), астроном академик П. Б. Иноходцев (1742—1806) и многие, многие другие. Ломоносов «оказывал свое действие» на воспитание новых поколений и косвенным образом: в 1755 году в Московский университет, созданный им, поступил десятилетний сын «маиора» московского драгунского «шквадрона» Денис Фонвизин, а чуть позднее другой дворянский мальчик, внук петровского денщика Александр Радищев приступил к занятиям под руководством преподавателей все из того же Московского университета. Если к этому добавить, что вся Россия в течение многих десятилетий обучалась грамоте по ломоносовской «Грамматике», усваивала основы красноречия и знакомилась с лучшими образцами мировой литературы по его «Риторике», то размеры его влияния на образ мыслей русских людей окажутся поистине грандиозными.

Как напутствие Учителя всему российскому юношеству звучали слова: «Сами свой разум употребляйте. Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Если же вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопи, а моя слава падает и с вашею».

Только глубокое понимание своей страны и своего народа, внутренней логики его развития, могло породить столь смелое высказывание. Действительно, надо было обладать настоящей смелостью, исключительным чувством собственного достоинства и твердой верой в русский народ, чтобы произнести такие слова в ту пору, когда большинство отечественной творческой интеллигенции видело свою задачу в том, чтобы лишь приблизиться к западноевропейским образцам, когда Сумароков, например, с гордостью

носил титло «русского Расина» и торжествующе показывал всем знакомым письмо Вольтера, где тот положительно отозвался о его трагедиях, когда Тредиаковский считал своим настоящим поэтическим триумфом то, что его оды мало чем отличаются от «Боаловых».

Сами свой разум употребляйте...

Но ведь новая русская культура только начинала складываться (русских академиков-то можно было сосчитать тогда на пальцах одной руки), от плода европейского просвещения едва лишь вкусили — и вдруг такой максимализм, такая дерзость! Казалось бы, надо сначала как следует поучиться, а уж потом...

Нет, говорит Ломоносов, человек так и не выйдет из младенческого состояния, если с самого начала не будет полагаться на свои собственные духовные ресурсы, — это основа, без этого никакое ученье не пойдет впрок. Слова Ломоносова звучат как заклинание.

Сами свой разум употребляйте... Мало чести получить номенклатурное признание своих заслуг, по общему гласу стать русским Аристотелем, либо Декартом, либо Ньютоном, то есть занять должность наместника европейской мысли в России и быть окруженному духовными рабами.

Сами свой разум употребляйте... В противном случае все силы, отданные просвещению России, были потрачены впустую, и мир новых духовных ценностей, сотворение которого сопровождалось такой титанической борьбою, этот новый культурный космос рухнет под тяжестью цепей, которые вы добровольно сейчас на себя накладываете.

Сами свой разум употребляйте... Это будет лучшим признанием и его, Ломоносова, просветительских заслуг, ибо истинная цель просвещения — не в том, чтобы сообщить людям определенную сумму сведений по различным наукам, и только, а в том, чтобы пробудить в каждом человеке творца, духовно активную личность. Только «свой разум употребляя», вы обретете собственное (человеческое и национальное) достоинство, и через это вам откроется, может быть, одна из поразительнейших особенностей мира: вы увидите его «в дивной разности», увидите, что все и вся существует в нем только благодаря своей незаменимости и неповторимости. Вакансии русского Аристотеля нет и быть не может вообще. Философский и научный подвиг Декарта был возможен только во Франции, а Ньютон неотделим от английской почвы.

Каждый человек уникален: это целый мир нереализованных возможностей, присущих только данной личности. Но они так и останутся в потенции, скрытыми от внешнего мира, если человек не совершит необходимого волевого усилия. *Сами свой разум употребляйте* — и станете свободны.

Мысль о духовной свободе пронизывает все это энергичное высказывание Ломоносова. Молодая Россия несет с собой уникальные духовные ценности в сокровищницу мировой культуры. Поэтому-то и важно, чтобы «россияне показали свое достоинство». Одно от другого не отделимо. Напряженные раздумия над этим составляют основной пафос последнего периода творчества Ломоносова. Именно в этом направлении сосредоточены его усилия и в государственной сфере, и в научно-педагогической, и в поэтической.

Здесь мы подходим к одному из главнейших созданий Ломоносова в поэзии — «Разговору с Анакреоном» (1758—1761), который по праву следует назвать его художественно-философским завещанием.

...Обычно «Разговор с Анакреоном» рассматривают как выражение стоического гражданского идеала Ломоносова, поэтический манифест, призывающий художников слова к воспеванию геройских дел. В подтверждение такого толкования приводят чаще всего четыре строчки, ставшие хрестоматийными:

Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

Разъясняя смысл этих стихов, упирают на то, что Ломоносов здесь приносит личное в жертву общественному, хотя, если присмотреться повнимательнее, никакой «жертвы» тут, в сущности, нет. Просто Ломоносов больше восхищен героями, и это его *личная* точка зрения.

Однако не будем торопиться... «Разговор с Анакреоном» — самое глубокое и, пожалуй, еще не оцененное по достоинству произведение Ломоносова. То, что здесь будет сказано, — только попытка взглянуть на него с иной точки. Попробуем разобраться не спеша.

«Разговор» состоит из четырех стихотворений, приписывавшихся древнегреческому поэту Анакреону, в перело-

жении Ломоносова и четырех ломоносовских ответов на каждое из этих стихотворений.

Творчество Анакреона (или Анакреонта) и его многочисленных подражателей (так называемая анакреонтика) составляет одну из показательных черт европейской поэзии — древней и новой. Для того типа сознания, который воплощает в себе анакреонтика, характерно воспевание живых, пусть даже и минутных, удовольствий (вино, любовь, природа), упоение настоящей «частичкой бытия», абсолютное безразличие ко всему, что выходит за рамки чувственного наслаждения миром (в том числе и к родине — ее прошлому, настоящему и будущему). Анакреонт исторический был предельно последователен в этом своем гедонизме: как говорит легенда, он умер, подавившись виноградной косточкой.

Анакреону Ломоносов поочередно противопоставляет стоического философа Сенеку Младшего и римского республиканца Катона, который боролся против деспотических притязаний Юлия Цезаря и закололся кинжалом, узнав, что противник победил и дело всей его жизни рухнуло.

В четвертой паре стихотворений Анакреон просит знаменитого родосского живописца (считают, что Апеллеса) сделать портрет его возлюбленной, а Ломоносов, в свою очередь, обращается к русскому художнику, первому в нашей стране (предполагают, что это Ф. С. Рокотов) с аналогичной просьбой. Разница только в том, что ломоносовская «возлюбленная» — это не женщина-любовница, а «великая Мать», Россия.

Основное внимание исследователи, как правило, сосредоточивают на цитированных выше строчках, справедливо усматривая в них существо идеологических расхождений между Анакреоном и Ломоносовым. Но выводы, как было отмечено, зачастую слишком прямолинейны и отражают действительное соотношение вещей лишь приблизительно. Особенно это ощущается в истолковании того места «Разговора», где Ломоносов дает сравнительную характеристику Анакреона и Катона:

Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,

Ножем он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я.
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.

Вот несколько наиболее характерных высказываний по поводу этих строчек, важнейших во всем «Разговоре».

«Ломоносов не знает, кто из них прав... В своей жизни и в поэтическом творчестве Ломоносов шел за Катоном и подавлял в себе все, что не считал общественно важным» (Д. К. Мотольская)[11].

«Конец стихотворения часто вводит в заблуждение читателей и даже исследователей: Ломоносов не ставит тут вопрос, кто благороднее из этих двух античных деятелей или кто из них больше заслуживает уважения; этот вопрос для Ломоносова решен и, конечно, в пользу симпатичного ему Катона. Но от решения вопроса о том, кто житейски благоразумнее, практичнее, Ломоносов отказывается...» (П. Н. Берков)[12].

«...Ломоносов противопоставляет общественному индифферентизму Анакреона... суровый классический образ древнеримского героя — республиканца Катона...

Ломоносов, правда, указывает, что и путь Катона не привел к цели... В конце он даже отказывается быть судьей в том, кто из них двух «умнее» провел свою жизнь. Однако несомненно, что образ Катона вызывал его большее сочувствие. Недаром он определяет его характер тем же словом «упрямка», т. е. твердость духа, благородная патриотическая настойчивость, которое... он применял и к самому себе» (Д. Д. Благой)[13].

«Сам Ломоносов и по своим склонностям и по своей жизненной практике принадлежал, как известно, к тем, кто «жизнь пренебрегал к республики успеху», и был очень далек от тех, кто «жизнь употреблял как временну утеху», но в данном произведении он заявляет, что не берется решать, какая из этих двух моральных позиций умнее» (Т. А. Красоткина и Г. П. Блок)[14].

Во всех этих высказываниях, несмотря на их основательное подкрепление цитатами из Ломоносова, упускается из виду один важнейший момент в тексте «Разговора»:

Несходства чудны вдруг и сходства понял я...

Исследовательская мысль отталкивается, прежде всего, от принципиальных, антагонистических «несходств» меж-

ду Анакреоном и Катоном. Получается, что в стихотворении существуют только две жизненные философии, два нравственных подхода к миру. Третьего не дано.

И вот тут литературоведы, по сути дела, заставляют Ломоносова выбирать между Анакреоном и Катоном, между практическим эпикурейством и аскетизмом. Подчеркиваем, сам Ломоносов не стоит перед выбором: он уже понял про Анакреона и Катона что-то такое, что снимает для него самый вопрос о выборе. И не потому только, что он предпочел кого-то из двух... Однако для исследователей вопрос не снят, и поскольку Катон как личность все-таки вызывает больше симпатий, нежели похотливый старичок Анакреон, принимается без доказательств, что Ломоносов целиком на его стороне. И тут уже грань между позицией Ломоносова и той жизненной программой, которую представляет Катон, стирается как бы сама собою. И появляется Ломоносов, который «шел за Катоном и подавлял в себе все, что не считал общественно важным»; Ломоносов — республиканец, который по своей жизненной практике принадлежал, «как известно» (?), к тем, кто «жизнь пренебрегал к республики успеху» (???).

Но отчего же тогда Ломоносов, если Катон ему ближе, отказывается принять чью-либо сторону в споре республиканца с Анакреоном? Ведь это «отказывается», или «не знает», или «не берется решить», может свидетельствовать только о двух вещах: либо о нравственной непоследовательности Ломоносова (что абсурдно), либо о профессиональной слабости всего произведения, о неумении Ломоносова-поэта художественными средствами выбраться из созданной им самим ситуации (что не менее абсурдно).

Однако все, о чем здесь сейчас говорится, не имеет к Ломоносову ровно никакого отношения. Он не «подавлял» в себе ничего из того, что не являлось «общественно важным» — ибо ничего такого, что следовало бы «подавить», он в себе не ощущал. Ломоносов как поэт и человек интересен именно глубоким и ясным пониманием высокой национально-государственной ценности своей личности. Он все считал в себе «общественно важным» и имел на это право. По своим же социально-политическим убеждениям он был не республиканцем аристократического толка, а сторонником просвещенного абсолютизма, в основе которого лежат народные «царистские иллюзии».

И наконец, последнее: так знает или не знает Ломоносов, кто «умнее»? Безусловно знает и не отказывается отвечать. Больше того: он уже, по сути дела, ответил на этот вопрос в приведенном отрывке. Умнее — он, Ломоносов. Что же касается Анакреона и Катона, то из них, с точки зрения Ломоносова, не умен ни тот, ни другой...

«Разговор с Анакреоном» можно понять лишь в контексте общих представлений Ломоносова об истине, о нравственной свободе, суть которых сводится к тому, что перед ним никогда не вставал вопрос о непримиримости частного и общего, личного и коллективного. Постоянная способность к слиянию с целым, органическое ощущение (и понимание) своего глубокого, коренного родства с миром, — которое и есть самая полная истина, какая только может быть в поэзии — все это уже было философским «активом» Ломоносова задолго до написания «Разговора с Анакреоном». И это необходимо учесть, приступая к его разбору.

Почти шестьдесят лет назад историком (не филологом!) Н. Д. Чечюлиным была высказана одна проницательная мысль по интересующему нас поводу. Вот что писал ученый: «Беседы с Анакреоном представляют поэтическую шутку, по остроумию исключительную во всей допушкинской поэзии: тонкость и изящество шутки — это позже других созревающий плод умственного развития»[15]. Звучит несколько парадоксально, отчасти даже несерьезно (особенно если иметь в виду всю серьезность поднимаемых в «Разговоре» проблем), но по существу — глубоко и решительно верно. Веселая ирония по отношению к Анакреону (и Катону!) многое ставит на свои места. Она была бы невозможна, если б Ломоносов не имел своего собственного ответа на поставленные им вопросы.

Нельзя забывать и еще об одном — о жанре. «Разговор с Анакреоном» — не ода, где возможны прямые уроки читателю и гражданская проповедь, не сатира, где необходимы обличение и некоторые практические рекомендации. Это именно «разговор», «беседа», «диалог» в духе античных диалогов, вышучивающий вдобавок всевозможные «разговоры в царстве мертвых», которые появлялись на страницах тогдашних журналов.

Давно отмечено, что отбор анакреонтических од для «Разговора», сделанный Ломоносовым, отличается основательной продуманностью. Здесь тот случай, когда уже в самом отборе — концепция.

Над Анакреоном и анакреонтикой Ломоносов размышлял давно и углубленно. Как мы помним, он еще в Марбурге купил книжку стихов Анакреона и тогда же перевел одно его стихотворение, которое в переработанном виде открывает «Разговор». Он собирал переводы из Анакреона и его подражателей на немецкий, французский, английский языки и прекрасно был знаком с русской «легкой поэзией» (стихи из «Езды в остров Любви» Тредиаковского, Сумарокова и других поэтов). Существует мнение, что и сам Ломоносов когда-то написал любовную песенку в анакреонтическом духе «Молчите, струйки чисты...»

Что из этого следует? Во-первых, то, что Ломоносов старался проследить от истоков долгое развитие в европейской литературе того философско-психологического типа, который так полно (и симпатично) выразился в анакреонтике и оказался на редкость жизнеспособным; а во-вторых, то, что и в Ломоносове, в его собственном восприятии жизни, было нечто толкавшее его к Анакреону. И вот в «Разговоре» он подводит некоторые важнейшие итоги своего отношения к означенному типу жизнепонимания.

Анакреон

ОДА I

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть...

Ломоносов

ОТВЕТ

Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум.

Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

«Смысл программного произведения Ломоносова «Разговор с Анакреоном» в том, — пишет современный исследователь Г. П. Макагоненко, — что европейски прославленному поэту, главе целого направления, выразителю определенной и распространенной концепции искусства противопоставлен Ломоносов, русский поэт, выразитель русской мысли»[16]. Это высказывание, при всей его неразвернутости, дает верную основу, верный угол зрения на «Разговор», что уже не мало.

Обычно «противопоставление», как говорилось, усматривают в том, что Ломоносов, в пику Анакреону, отказывается воспевать любовь и призывает к прославлению героев. На наш взгляд, противопоставление развивается в несколько другом русле. Высший смысл его в том, что *ломоносовское слово о мире объемнее, чем слово Анакреона.* Певец наслаждений не испытывает никаких эмоций по отношению к троянским героям, к Кадму, к Гераклу — они начисто выпадают из его мира, который, таким образом, оказывается сознательно обедненным и ограниченным. Ломоносовское мироощущение, напротив, не отвергает анакреонтического начала («Я чувствовал жар прежний В согревшейся крови»), но вдобавок он отзывчив и к «геройскому» началу. Если присмотреться повнимательнее, то тут мы имеем не противопоставление геройства и любви, а противопоставление любви и Любви. Поэт начинает «бегать» «перстами» «по тоненьким струнам», чувствуя в себе «жар» любви, и эта любовь органически, «по неволе», переходит на более возвышенный предмет.

В основе всего этого лежит более свободное и широкое представление Ломоносова об истине, которое, как подчеркнуто выше, заключалось для него в слиянии своего «я» с миром, в самоотдаче чему-то обширнейшему, нежели он сам. Скажут: да ведь и Анакреон сливается с миром, и Анакреон свободно отдает себя тому, что сильнее и обширнее его, и Анакреон в своей чувственной любви приобщается к бесконечности, к истине и т. д. Но ведь вопрос-то здесь не в том, может ли приобщиться, а в том, *сколько точек соприкосновения* с миром в этом единении, в этом приобщении к истине у того и другого. *Истина Анакреона огра-*

ниченнее ломоносовской. Анакреон (люди его типа) никогда не сможет понять Ломоносова (людей его типа). Он сам заказал себе путь к этому, сузив свой горизонт. Ломоносов стоит выше, он видит дальше и больше. Любовь для него — и «нежность сердечная», и восхищение перед вечной славой героев. Ломоносов может понять Анакреона. Поэтому-то и возможно продолжение «Разговора»:

Анакреон

ОДА XXIII

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжи́ть,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла
И, за откуп кончину
Отсрочив, жить дала;
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,
На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог;
Не лучше ль без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать.

Ломоносов

ОТВЕТ

Анакреон, ты верно
Великий философ,
Ты делом равномерно
Своих держался слов,
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам,
Ты петь любил, плясал...
Возьмите прочь Сенеку,
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил?

Анакреон, безусловно, симпатичен Ломоносову. Симпатичен, прежде всего, тем, что у него слово не расходится с делом (это как раз отмечается исследователями). Но положительное отношение к Анакреону прослеживается и по другим пунктам: ироническое презрение к деньгам и умение по достоинству оценить здоровую, предметную сторону

жизни. Причем Ломоносов здесь *не объединяется* с Анакреоном: просто он подробнее раскрывает свое жизнепонимание. Обратите внимание: ни о каком «подавлении» речи нет. Ломоносовский образ мира развивается в его репликах свободно, исподволь. Он полнокровен, а не аскетичен.

Но самое главное в этой паре стихотворений — появление темы «смерти», «рока» (в тогдашнем употреблении: синоним «смерти»).

Спиноза говорил: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни»[17]. Подчеркнем, мысль о смерти заявлена в стихотворении Анакреона, Ломоносов лишь высказывается на предложенную древним поэтом тему. Тема смерти, вообще, не актуальна для поэзии Ломоносова.

Для Анакреона осознание скоротечности всего земного — повод к окончательной безответственности перед людьми, к окончательному замыканию в границах своего мирка, что и зафиксировано в последних четырех строчках его стихотворения. У Ломоносова же эта мысль о возможности близкой кончины ассоциируется с представлением об ответственности, долге. Причем здесь он не высказывает *своего* понимания этих моральных категорий. Он органичен: он не «грешил» перед людьми, не противопоставлял себя им. Ему незачем ставить *перед собой* вопрос об ответственности. Вот почему нравственную противоположность Анакреону Ломоносов сознательно ищет не в своей душе, а в недрах той европейской традиции, с которой и идет весь «Разговор». Упрощая: вы проповедуете всепоглощающую погоню за наслаждениями, покажите иное.

Так появляется Сенека. И тут же отбрасывается прочь. Вот уж кто действительно проповедовал отказ от радостей жизни, полный аскетизм, и кстати все под тем же знаком, под каким Анакреон проповедовал наслаждение, — под знаком смерти. Но в жизни своей Луций Анней Сенека был очень даже «анакреонтичен» и понимал толк в наслаждениях. Таким образом, аскетизм Сенеки — умозрителен, он — от пресыщения, он не подкреплен делом, жизнью, судьбою. Следовательно, Сенека — не соперник Анакреону. С точки зрения нравственной, Анакреон выше: он хоть последователен. Последние четыре строчки ответа Ломоносова — о Сенекиных «правилах» — содержат в себе бездну иронии. Именно здесь Ломоносов уже начинает

понимать «несходства чудны вдруг и сходства» двух противоположных нравственных полюсов европейской мысли: угрюмство ее и даже веселость — от смерти. Она не может ответить для себя на вопрос: как жить? как совместить личное и общее? Ее рекомендации ведут либо к тому, что человек, живя в ладу с собой, погибает для остального мира (Анакреон), либо к тому, что он обнаруживает и закрепляет катастрофический разрыв между нравственным словом и нравственной практикой (Сенека).

В том и в другом случае действительно полная жизнь, в которой субъективное и объективное существуют в единстве, оказывается ей не под силу. Иронический вопрос по поводу «Правил», «сложенных» Сенекой, в сущности, уже в себе самом содержит отрицательный ответ: «И кто по оным жил?» Ломоносовская ирония заключается в том, что «по оным» действительно жить нельзя: «оные» правила, зародившись под страхом смерти, учат только одному — смерти же.

Так появляется Катон. С кинжалом. Катон — это воплощенная попытка воссоединить «сенекин» разрыв между словом и делом, но воссоединить в субъективном, диктаторски одностороннем порядке. Этот республиканец в политике — одновременно деспот и раб в нравственной сфере. Он покупает внутреннюю гармонию и свободу («сим от Кесаря кинжалом свобожусь») ценою уничтожения — нет, в первую очередь не себя самого! — *мира,* который оказался не таким, каким он хотел его видеть.

Здесь-то во всей полноте и проступают те «сходства» Катона с Анакреоном, которые «вдруг» увидел Ломоносов. Железный аскет сходен с мягкотелым сластолюбцем в основополагающем нравственном отношении: он хочет гармонии и свободы для себя. Оселком, на котором проверяется их коренное сходство, выступает общечеловеческая, коллективная ценность жизни того и другого. И вот тут-то выясняется, что она, эта ценность, практически равна нулю — ни тот ни другой *ничего не оставили людям.* Именно в этом смысл строк, обращенных к Анакреону:

Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой.

Закономерный вопрос: а как же быть с «упрямкой славной»? с «пренебрежением жизни к республики успеху»?

Ломоносов действительно ценил в самом себе «упрям-

ку» (ср. «благородная упрямка» в письме к Теплову). Он действительно отмечает это упорство и в Катоне. Не столько оценивает, сколько именно отмечает. «Упрямка славная» и «благородная упрямка» — это не одно и то же. Эпитет «благородная» не нуждается в разъяснениях. «Славная» же, исходя из ломоносовского словоупотребления, означает в данном случае знаменитая, прославленная (здесь никак нельзя дать себя увлечь омонимическими сочетаниями типа «славный человек», «славная погода» и т. п.).

Кроме того, в строке об «упрямке» Катона очень важным является слово «судьбина». Это не просто «судьба», «удел», «доля». Это *злая судьба, дурная судьба*. Вспомним «Письмо о пользе Стекла», картину извержения Этны:

Из ней разженная река текла в пучину,
И свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!
Но ужасу тому последовал конец...

Отсюда видно, что «судьбина» у Ломоносова — это один из ужасных ликов *смерти*. Причем, в случае с Катоном Ломоносов сознательно нацелен на отыскание причин его судьбины, не во вне, а в нем самом. Выступая против «мечтаний» Анакреона, Катон произносит роковые слова:

Однако я за Рим, за *вольность* твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом *свобожусь*...

Опять ирония, да еще какая! Мыслям Анакреона о том, что перед лицом «рока» должно «больше веселиться», Катон противопоставляет свою заботу, «ревность» о Риме, о вольности, но в решающую минуту он предает и Рим и вольность его, — и свобода покупается Катоном только для себя. Ломоносов приходит к выводу, что, в сущности, не Цезарь является главным врагом Катона. У неистового республиканца был более тиранический противник:

Ножем он сам себе был смертный супостат.

Ломоносов, не меньше Катона радевший о благе общества, имел право на такое заявление. Именно потому, что его «радение» в корне отличалось от Катонова. Ведь у Катона, по существу, вовсе даже и не любовь к Риму, а — ревность. Рим ушел с Цезарем, а не с ним: не в силах перенести измены, он и закалывается, и тут упрек с его стороны не только «сопернику» Цезарю, но и самому «предмету страсти» — Риму.

Ломоносов с умной усмешкой разглядывает Анакреона и Катона — эти два главнейших человеческих типа, созданные европейской цивилизацией. Он выслушивает их спор между собою, в глубине души потешаясь над ними. Зародившись в античности, эти два символа европейского человечества — рыцарь сладострастия в шелковых латах, пекущийся только о себе, и угрюмец с кинжалом, зовущий к борьбе за общее благо, но на поверку пекущийся опять-таки лишь о себе, — из века в век они отражаются друг в друге и не мыслимы один без другого. Они уморительны в их попытках увлечь человечество каждый на свою сторону. Даже безусловно положительные задатки каждого из них принимают гипертрофированно одностороннее (значит, уродливое) развитие вследствие их неспособности любить плодотворной и полной любовью. Анакреон, видящий в любви только ее предметную сторону, приходит к закономерно комическому жизненному итогу. Наслаждение, к которому он стремился до самозабвения, до истощения сил, выносит ему в «Разговоре» убийственно веселый приговор:

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,—
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед»...

(Ломоносовский Катон, не способный на шутку ввиду принятого решения о самоубийстве, еще более решителен в оценке Анакреона: «Какую вижу я седую обезьяну?»)

Любовь — чувство эгоистическое, и в этом его роковое искушение для анакреонов и неразрешимая загадка для катонов. Личный интерес в любви неизбежен, им-то она и сильна. Катон этого не понимает, самая мысль об этом для него оскорбительна. Но есть эгоизм и эгоизм. Весь вопрос в том, насколько объемен внутренний мир человеческого «я», насколько широк его личный интерес. Европейским угрюмцам не «показали» еще человека, чей «эгоизм» органически вмещал бы в себе интересы других людей. В этом беда угрюмцев. Оттого они так легко «пренебрегают жизнь» — и не только ради «республики успеха», но и ради удовлетворения собственного чувства неразделенной любви к обществу. Самоубийство Катона — это уродливое, противоестественное проявление личного интереса.

Анакреон, конечно же, органичнее и, в общем-то, мудрее своего антипода. В жизненной философии и практике он естественно исходит из личной заинтересованности в

земных радостях. Но главное, он умеет одухотворить предмет этой своей заинтересованности, извлечь из него максимум поэзии. Вот последнее стихотворение Анакреона в «Разговоре», где все дышит жизнью, где он выражает свой идеал красоты, а через него и красоту собственного духа. Вот как он просит художника написать портрет своей возлюбленной:

Цвет в очах ея небесной,
Как Минервин, покажи
И Венерин взор прелестной
С тихим пламенем вложи,
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь;

Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Вводят усумненной взгляд;

Надевай же платье ало
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет;
Молви ж, дорогой портрет.

Ломоносов в своем ответе выносит окончательную и удивительно точную оценку Анакреону по совокупности его жизни и поэзии. Этот старичок, который видел свою заслугу в бездумном веселье, ценивший превыше всего предметную сторону бытия, интересен для Ломоносова не конкретным содержанием его беспутной жизненной программы, а духовными качествами его натуры, которые не истерлись в погоне за наслаждениями и так невольно и так прекрасно сказались в его творчестве:

Ты счастлив сею красотою
И мастером, Анакреон,
Но сча́стливее ты собою
Через приятной лиры звон...

Что же касается своего идеала, то Ломоносов только теперь, подведя итоги диалога с европейской нравственной и эстетической традицией, дерзает его выразить:

О мастер в живописстве первой,
Ты первой в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне.
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу;

Потщись представить члены здравы,
Как должны у богини быть,
По плечам волосы кудрявы
Признаком бодрости завить,
Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи,
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой;

Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали
И так бы слух наш ободряли,
Как чистой голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей;

Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец:
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно!
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать.

Ломоносов здесь впервые в новой русской поэзии вводит образ великой Матери-России. Он вкладывает в ее уста слова о мире, который она — именно она — по его глубокому убеждению, должна дать человечеству. В стихотворении Ломоносова органически примиряется гражданское начало Катона (однако ж без его «угрюмства») и любовное начало Анакреона (однако ж без его безответственности). Здесь нет «проповеди» гражданского долга, как считают исследователи, — людям без чувства коллективной совести бесполезно говорить о долге перед Родиной: не отдадут. Ломоносов просто признается в своей любви к России, как

Анакреон к своей девушке. В этом его признании содержится невольное указание, нравственный вывод о том, что только через любовь к Родине возможна полнокровная жизнь, возможно совмещение личного и общего, в чем и состоит истина.

Возвращаясь к тому, с чего начат был разбор этого стихотворения Ломоносова, подчеркнем: нельзя рассматривать «Разговор» (и, прежде всего, кульминацию его — противопоставление философии наслаждения и отказа от земных радостей, выраженное в образах Анакреона и Катона), не учитывая национального своеобразия позиции Ломоносова, которое проявляется не в одном лишь последнем стихотворении, где изображена Россия, а пронизывает все произведение от начала до конца и проступает даже в стихах Анакреона, переведенных Ломоносовым.

Главное же в этой своеобразно-русской позиции Ломоносова то, что он может, не переставая быть самим собою, как бы сделаться на время Анакреоном и Катоном. Включить в себя жизненную философию каждого из них, сознавая при этом, что его дух от этого «включения», «вбирания в себя» чужой точки зрения на мир не заполнен до отказа, что остается еще, говоря словами Гоголя, «бездна пространства».

Все мы знаем высказывание Достоевского о том, что гений Пушкина нес в себе «способность всемирной отзывчивости». «И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, — пояснял Достоевский, — он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт» [18]. Думается, не будет натяжкою сказать, в свете приведенного разбора «Разговора с Анакреоном», что в Ломоносове мы имеем отдаленного пушкинского предшественника в этом направлении.

Объяснимся подробнее. Вспомним знаменитые слова Ломоносова о русском языке: «Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто, неупрежденный великими о дру-

гих мнениями, прострет в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет».

По сути дела, здесь разговор идет не только о преимуществах русского языка перед другими, но и об изначальной способности русского сознания вмещать в себя «гении других народов», что не могло не отразиться в самом строе и духе русского языка.

Ломоносов с блеском подтвердил это в своей литературной деятельности. Конечно, между ним и Пушкиным в этом отношении — дистанция огромная, но огромная-то она именно потому, что Пушкин пришел после Ломоносова. И если бы не титанические усилия Ломоносова, направленные на практическую реализацию в поэзии скрытых, но гениально подмеченных им «интернациональных», что ли, потенций русского слова, то явление Пушкина (читатель, надеюсь, извинит эту невольную фантазию) вряд ли отличалось бы тем всемирным, всечеловеческим пафосом, о котором говорил Достоевский.

Ломоносов не создал и не стремился создать оригинальных произведений, в которых отразились бы «поэтические образы других народов и воплотились их гении». Ломоносов мог говорить о «великолепии ишпанского» языка, читать испанские книги, но ничего подобного пушкинской строчке: «Ночь лимоном и лавром пахнет»,— вы у него, конечно, не найдете. Однако ж была одна область литературы, в которой Ломоносов мощно и ярко заявил о своей способности к «перевоплощению своего духа в дух чужих народов, перевоплощению почти совершенному», — то есть заявил о таком поэтическом качестве, которое получило полное развитие только у Пушкина и вознесло его, по мнению Достоевского, над всеми поэтами человечества, «пото-

му что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось».

Областью, в которой Ломоносов предвосхитил пушкинскую «всемирную отзывчивость», была область поэтического перевода.

Переводческая культура русской поэзии первой половины XVIII века была очень высока. Кантемир, Тредиаковский, Сумароков, сам Ломоносов — каждый из этих поэтов был выдающимся переводчиком. Но, пожалуй, только ломоносовские «преложения» иноязычных авторов обладали тем уникальным качеством, которое можно определить как поэтический артистизм, то есть умение проникнуть в самый дух оригинала, умение уловить и безупречно воссоздать интонацию переводимого автора, каким-то непонятным образом передать его культурно-исторический тип, — ни на йоту не утрачивая при этом в своем собственном индивидуальном и национальном качестве.

Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятной перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я вскричал;
«Согрей обмерзло тело», —
Сквозь дверь он отвечал...
Тогда мне жалко стало,
Я свечку засветил,
Не медливши нимало
К себе его пустил...
Я теплыми руками
Холодны руки мял,
Я крылья и с кудрями
До суха выжимал
Он чуть лишь ободрился,
«Каков-то, молвил, лук,
В дожже чать повредился», —
И с словом стрелил вдруг.
Тут грудь мою пронзила
Преострая стрела
И сильно уязвила,
Как злобная пчела.
Он громко засмеялся
И тотчас заплясал.
«Чего ты испугался?» —
С насмешкою сказал. —

«Мой лук еще годится,
И цел и с тетивой;
Ты будешь век крушиться
Отнынь хозяин мой».

Это — Анакреон. Это его грациозное переживание роковой силы любви. И вместе с тем, это — Ломоносов, невольно выдающий себя отдельными словами («Со гневом я вскричал», «... сильно уязвила, Как злобная пчела»), за́ которыми вырисовывается «гордый внук славян», противящийся, в отличие от утонченного сластолюбца-эллина, абсолютному подчинению мучительно-сладкой стихии любовного чувства.

Железо, злато, медь, свинцова крепка сила
И тягость серебра тогда себя открыла,
Как сильный огнь в горах сжигал великой лес;
Или на те места ударил гром с небес;
Или проти́в врагов народ готовясь к бою,
Чтоб их огнем прогнать, в лесах дал волю зною;
Или чтоб тучность дать чрез пепел древ полям
И чистой луг открыть для пажити скотам;
Или причина в том была еще иная,
Владела лесом там пожара власть, пылая.
С великим шумом огнь коренья древ палил;
Тогда в глубокой дол лились ручьи из жил,
Железо и свинец и серебро топилось,
И с медью золото в пристойны рвы катилось.

Это — Лукреций, чеканным стихом повествующий здесь о рождении металлов. Это его «философствование стихами» из поэмы «О природе вещей», основанное на четкости формулировок. Это его предельная смысловая насыщенность строки, столь близкая Ломоносову, мыслителю и естествоиспытателю.

Склони, зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на земли явятся
Твои ужасны чудеса.

И молнией твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов твоих пределы,
Как бурей плевы разжени.

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.

Это — уже библейское мироощущение. Это мир, увиденный древним евреем, всегда тяготевшим к деспотически

одностороннему решению земных коллизий. Это его трагический энтузиазм, вызванный именно дисгармоничностью мироощущения. Но вместе с тем это и Ломоносов (вернее, часть его: так же, впрочем, как и в предыдущих случаях), — Ломоносов, являющийся в минуту отчаяния, изнемогший в борьбе со своими врагами («Меня объял чужой народ») и в мыслях призывающий себе на помощь «высшую силу», во имя и во славу которой и идет борьба, — едва ли не самого Петра («Да паки на земли явятся Твои ужасны чудеса»), — Петра, о котором он же сказал ранее: «Он бог, он бог твой был, Россия!»

Лишь только дневной шум замолк,
Надел пастушье платье волк
И взял пастушей посох в лапу,
Привесил к поясу рожок,
На уши вздел широку шляпу
И крался тихо сквозь лесок
На ужин для добычи к стаду.
Увидел там, что Жучко спит,
Обняв пастушку, Фирс храпит,
И овцы все лежали сряду.
Он мог из них любую взять;
Но не довольствуясь убором,
Хотел прикрасить разговором
И именем овец назвать.
Однако чуть лишь пасть разинул,
Раздался в роще волчей вой.
Пастух свой сладкой сон покинул,
И Жучко с ним бросился в бой;
Один дубиной гостя встретил,
Другой за горло ухватил;
Тут поздно бедной волк приметил,
Что чересчур перемудрил,
В полах и в рукавах связался
И волчьим голосом сказался.
Но Фирс недолго размышлял,
Убор с него и кожу снял.
Я притчу всю коротким толком
Могу вам, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицой не бывать.

Не правда ли, поразительный диапазон? Это уже Лафонтен. Здесь удивительно гармонично соединилось «простодушие», являющееся, по слову Пушкина, «врожденным свойством французского народа», и чисто русская отличительная особенность, которую тот же Пушкин усматривал в «каком-то веселом лукавстве ума, насмешливости и живописном способе выражаться». И потом: как сильно чув-

ствуется тут близкое присутствие Крылова! А ведь этот ломоносовский перевод сделан за двадцать с лишним лет до рождения гениального баснописца...

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю,
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне безнатной род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу дельфийским лавром.

А это — Гораций. Это спокойная уверенность римлянина в своем всемирном предназначении, осознаваемая именно в политических терминах, — образ литературной славы, вырастающий на реальной основе военно-экспансионистских устремлений римской империи («Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом»). И вместе с тем — это опять-таки Ломоносов, который и здесь сказался: «Отечество мое молчать не будет, Что мне безнатной род препятством не был...» и т. д.

Можно было бы привести еще много примеров ломоносовских «преложений», — из Овидия и Лафонтена, из Вергилия и Камоэнса, из Клавдиана и Вольтера и других поэтов, — примеров, показывающих удивительную способность Ломоносова перевоплощаться «в дух чужих народов» и одновременно оставаться самим собою.

Поэзия Ломоносова — это пиршество свободного и здорового духа, вырвавшегося на всечеловеческий простор, осознавшего свое изначальное родство со всем миром, — пиршество, на котором он, по прекрасному выражению В. Ф. Одоевского, «черпал изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая»[19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> О, народ, к величию и славе рожденный!
> *Радищев*

Академик С. И. Вавилов писал: «Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Франклин и Гете более специальны и сосредоточены. Замечательно при этом, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, будь то физико-химические исследования или оды, составление грамматики и русской истории, или организация и управление фабрикой, географические проекты или политико-экономические вопросы, — все это не делалось им против воли или даже безразлично. Ломоносов был всегда увлечен своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства»[1].

В нем поражает удивительная органичность его натуры, всегда стремившейся через любой предмет, через любую частность постичь мир в его универсальном единстве. Неизменная способность в каждый данный момент видеть мир «в дивной разности», не дробя при этом самой целостности впечатления, — эта отличительная черта ломоносовского гения являлась одновременно одной из коренных черт русского сознания вообще.

Появление Ломоносова было подготовлено всем предшествующим, более чем восьмисотлетним развитием русского мироведения, которое по преимуществу выступало именно в поэтически непосредственной форме:

> Отчего у нас начался белый свет?
> Отчего у нас солнце красное?
> Отчего у нас млад светел месяц?

Отчего у нас звезды частые?
Отчего у нас ветры буйные?

(Из «Стиха о Голубиной книге»)

«Глубокая бескорыстная любознательность народа» (С. И. Вавилов), отразившаяся в этих строках, заставляла древних русских книжников переводить с греческого и латыни произведения, в которых содержались бы универсальные сведения о мире, — таковы: «Книга о Христе, обнимающа весь мир» Козьмы Индикополова, «Толковая Палея», «О всей твари», знаменитый «Луцидариус» Гонория Отенского, «Великая и предивная наука» Раймунда Люллия и т. д.

С течением времени донаучные, полусказочные представления о Вселенной, изложенные в этих книгах, исподволь уступают место более достоверным и прогрессивным. В XVII веке Епифаний Славинецкий впервые знакомит Россию с учением Коперника, который «солнце (аки душу мира и управителя вселенныя, от него же земля и все планеты светлость свою приемлют) полагает посреде мира недвижиму» («Зерцало всея вселенныя, или Атлас новый...», 1655—1657). Стремление охватить мир единым взором запечатлелось в громадных поэтических энциклопедиях Симеона Полоцкого, по стихам которого юный Ломоносов обучался грамоте.

Эпоха Петра I выдвинула сразу целый ряд энциклопедичных по своим устремлениям и дарованиям деятелей: сам Петр, Феофан Прокопович, Я. В. Брюс, В. Н. Татищев, Антиох Кантемир, — занимавшихся одновременно с отправлением государственных должностей и историей, и географией, и математикой, и астрономией, и физикой, и древней и новой философией, и поэзией, и драматургией.

Повторяем, энциклопедизм Ломоносова — явление глубоко закономерное на русской почве. Творчество Ломоносова, — эта ослепительная вспышка национального самосознания,— явилось плодотворным завершением, историческим оправданием многовековых усилий русской культурной традиции выработать органически целостный взгляд на мир.

«Вся красота вселенныя существовала в его мысли», — писал о Ломоносове Радищев и был, безусловно, прав. Но вот вопрос: почему из всех ближайших предшественников Ломоносова и его современников, обладавших достаточной широтою интересов и не лишенных способности поэтически

переживать «всю красоту вселенныя», только он, Ломоносов, занял такое выдающееся место в истории русской и мировой культуры?

В чем же дело? Современный исследователь пишет, что «если чего не достает такому талантливому человеку, как Тредиаковский, так это «умения правильно «поставить себя» в творчестве»[2]. Это верно, что Тредиаковский не умел найти точное соотношение между своими возможностями и устремлениями, то есть правильно «поставить себя» в творчестве. И не только он: мы видели, с каким отчаянием, даже исступлением стремился «поставить себя» Сумароков — и тоже не сумел. Отчего же все-таки они не обрели этого умения, а Ломоносов обрел?

Думается, помимо психологических причин тут следует взять в рассмотрение и особенности социальной позиции каждого из них. Тредиаковский выступал от лица немногочисленной в ту пору (и общественно слабой) разночинной интеллигенции, Сумароков — от лица просвещенного шляхетства, стремившегося к ограничению абсолютистской власти, но потерпевшего крах на этом пути. Не имея поддержки от тех социальных групп, интересы которых они представляли, Тредиаковский и Сумароков постоянно ощущали всю непрочность своей позиции, что не могло не отразиться и в творчестве и в психологии их. Ломоносов, поднявшийся из низов, имел более широкое понятие о действительных возможностях огромной страны, о мере участия каждого класса в жизни государства, в создании культурных ценностей и т. п. В 1730 году он ушел из деревни Мишанинской не для того, чтобы завоевать себе «место под солнцем», но, как сказал в свое время поэт А. Майков,

Чтоб Русь познать от темной клети
До светлых княжеских палат.

Вот почему социальные опоры позиции Ломоносова были гораздо многочисленнее и прочнее. Правда его была шире и объемнее правды, которую несли Тредиаковский и Сумароков. Он стоял тверже, ибо опирался не на узкую площадку той или иной сословной философии, а на широкий и прочный фундамент «мнения народного». Вот почему его никогда не покидала спокойная убежденность гения, вполне сознающего свою силу, свою неотъемлемую способность и привилегию говорить новое слово во всех доступных

ему сферах деятельности, утверждать новую правду и знать, что за этою правдой — будущее.

Ломоносов — этот «человек, исторгнутый из среды народныя» (Радищев), всей своей жизнью подтвердил удивительную способность русских людей не просто к преодолению трудностей, а к *плодотворному* их преодолению. Ломоносову менее всего был свойствен «просвещенный фанатизм» (выражение Боратынского), то есть такое отстаивание своих идей, которое принципиально исключает всякую возможность поправки, какой бы то ни было коррекции извне. Этот великий человек потому и велик, что умел, когда этого требовали интересы истины, пойти на коренные перемены в своих представлениях, умел перестроиться в соответствии с реальностью.

«С величественностью природы нисколько не согласуются смутные грезы вымыслов!» — такая мысль в такой форме не могла зародиться в голове кабинетного ученого. Это мысль гения, причем гения народного, ибо так же, как народ никогда не боится учиться у природы, истинный гений, убедившись в ошибочности своих гипотез, никогда не навязывает их природе, какими бы стройными и непротиворечивыми они поначалу ни казались.

Гений так же, как и народ, — это постоянная способность к саморазвитию, к самосовершенствованию через погубление частностей в целом. Именно эти качества отмечал в русском народе Ломоносов: «Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастию последовало благополучие, большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление...» («Древняя российская история». Вступление).

Наиболее ярким и убедительным подтверждением способности русского народа к обновлению и, одновременно, залогом будущих великих побед русского просвещения явился, по мысли Ломоносова, переворот всего жизненного уклада России, происшедший при Петре I. Причем Ломоно-

сов, — и это очень важно подчеркнуть, — несмотря на свое искреннее восхищение выдающейся личностью царя-просветителя, был глубоко убежден, что ни одно из его начинаний не получило бы успеха, если б не умение русского народа резко и круто повернуть свою жизнь в новое русло, не утрачивая при этом ни грана в своем национальном качестве. Прекрасно понимая, какой тяжелой ценой дались народу Петровские реформы, будучи вместе с тем твердо уверенным, что пути назад для России заказаны, и выдвигая свою собственную программу дальнейших просветительских преобразований, Ломоносов вполне отдавал себе отчет в том, что ее выполнению «ужасные обстоят препятствия», но оговаривался, что препятствия эти «не больше опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходительством с иноверными, заставить матрозов в летние посты есть мясо, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов и вместо их учредить Правительствующий Сенат, Святейший Синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц! Российской народ гибок!» («О сохранении и размножении российского народа»).

Подвижность ломоносовского гения была сродни этой «гибкости» русского народа. Здесь, пожалуй, и лежит объяснение стремительности взлета Ломоносова, его поразительной способности к усвоению богатств мировой культуры, основанному на безошибочном умении выбрать из этих богатств самое главное, самое существенное, самое необходимое для своего собственного продвижения вперед. Это позволило ему не только в кратчайший срок догнать «просвещенный век», но и спорить с «просвещенным веком» — спорить на равных, спорить по существу, спорить плодотворно и во многих отношениях пойти намного дальше своего века. Гений Ломоносова — гений русский: это, по сути, знаменитая русская смекалка, возведенная «на высочайший степень величества, могущества и славы».

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ АВТОРА

[1] С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. М., изд. АН СССР, 1961, с. 64—65.

[2] К. Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1896, с. 62.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

[1] М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.— Л., изд. АН СССР, 1962, с. 70.

[2] Там же, с. 61.

[3] Там же, с. 50.

[4] Там же, с. 62.

[5] Там же, с. 43.

[6] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXI. М.— Л., 1925, с. 141.

[7] А. Н. Радищев. Полн. собр соч., т. I. М.— Л., изд. АН СССР, 1938, с. 380.

[8] А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.— Л., изд. АН СССР, 1962, с. 174. Это исследование является незаменимым пособием для всех, кто интересуется ранним периодом жизни и творчества Ломоносова; некоторые факты из культурной жизни Севера и быта поморов, сообщаемые А. А. Морозовым, использованы и в нашей книге.

[9] С. К Смирнов. История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855, с. 168.

[10] См.: В. К. Макаров. Киевская «мусия» в художественном творчестве М. В Ломоносова.— В кн : «Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы». М.— Л., 1963, с. 102—104.

[11] Цит. по кн.: А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости, с. 119.

[12] См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 8. М.— Л., изд. АН СССР, 1959, с. 865.

[13] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII. М.— Л., 1926, с. 20.

[14] Ф. М. Достоевский. Об искусстве. М., «Искусство», 1973, с. 325—326.

[15] В. И. Вернадский. О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и геологии. М., 1900, с. 8.

[16] М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников, с. 45—46.
[17] С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов, с. 31.
[18] А. Н. Радищев. Полн. собр. соч, т. I, с. 389.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

[1] К. Валишевский. Дочь Петра Великого. Изд. А. С. Суворина, 1910, с. 12.
[2] Б. Г. Кузнецов Творческий путь Ломоносова. М., изд. АН СССР, 1961, с. 46, 48—49.
[3] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. М.— Л., изд. АН СССР, 1952, с. 371.
[4] М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников, с. 59.
[5] Письмо Ломоносова к И. И. Шувалову от 10 мая 1753 года. К этому письму имеется пространный комментарий, который, как мне кажется, будет небезынтересным для читателя настоящей книги. Привожу его незначительными сокращениями: «Говоря о Диогене, оставившем своим землякам «несколько остроумных шуток», Ломоносов имеет в виду, что Диоген не оставил никакого научного наследия, кроме некоторого количества отдельных афоризмов. Сведения, сообщаемые Ломоносовым об имущественном положении перечисленных им иностранных ученых, совершенно точны: Ньютон получал твердый доход со своего небольшого родового имения, который в соединении с профессорским содержанием обеспечивал его вполне достаточными средствами, а во второй половине жизни, после назначения хранителем Лондонского монетного двора, достиг еще большего благосостояния... Бойль, сын лорда, самого богатого человека в тогдашней Англии, тратил значительные суммы на свои научные предприятия и содержал на свои средства большой штат лаборантов, механиков и секретарей, чем и объяснялся, по мнению его биографов, огромный объем его научно-литературной продукции... Христиану Вольфу, сыну ремесленника, был дан в 1745 году титул имперского барона; к концу жизни, получая исключительно высокий оклад жалованья, значительно превосходивший обычные профессорские оклады, он скопил крупное состояние и оставил в наследство сыну прекрасный дом в г. Галле и «рыцарское имение»... Английский медик и ботаник Г. Слоан (Sloane) положил основание Британскому музею, завещав государству библиотеку, содержавшую 50 000 печатных и рукописных томов, и превосходное собрание «редкостей» с условием, чтобы его наследникам было выплачено 20 000 фунтов стерлингов...» (См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 10. М.— Л., изд. АН СССР, 1957, с. 814—815).
[6] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXI. М.— Л., 1925, с. 161.
[7] См.: «Летопись жизни и творчества Ломоносова». Составители Г. А. Андреева, Г. Е. Павлова, Н. В. Соколова. М.— Л., 1961, с. 355—358.
[8] Эта тенденция наиболее отчетливо выразилась в комментариях к «Письму о пользе Стекла» в 8-м томе Полного собрания сочинений Ломоносова (М.— Л., 1959, с. 1003—1008).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 128.
[2] Цит. по кн.: М. И. Пыляев. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1887, с. 105.

[3] А. Афанасьев. Поэтические воззреиия славян иа природу, т. I. М., 1865, с. 68.

[4] Цит. по кн.: В. К. Макаров. Художественное иаследие М. В. Ломоносова. Мозаики. М.— Л., 1960, с. 75—76.

[5] М. В. Ломоносов в воспоминаииях и характеристиках современников, с. 16.

[6] М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 10, с. 864.

[7] Летопись жизни и творчества М. В. Ломоиосова, с. 393.

[8] Общественная и частиая жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описаиная.— «Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии Наук», т. XIII. СПб., 1875, с 185.

[9] См.: М. В. Ломоиосов. Поли. собр. соч., т. 10, с. 766.

[10] М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников, с. 90—91.

[11] История русской литературы, т. III. М.— Л., изд. АН СССР, 1941, с. 348.

[12] См.: Б. Н. Меншуткин. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоиосова. Изд. 3-е. М.— Л., изд. АН СССР, 1947, с. 254. (Раздел этой книги, посвященный ломоносовской поэзии, иаписаи покойным членом-корреспондеитом АН СССР П. Н. Берковым.)

[13] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. Изд. 3-е. М., Учпедгиз, 1955, с. 151.

[14] М. В. Ломоиосов. Полн. собр. соч., т. 8, с 1165.

[15] Старина и иовизна, ки. 22. Пг., 1917, с. 78—79.

[16] Г. П. Макогоненко. Пути развития русской поэзии XVIII века.— В кн.: «Поэты XVIII века», т. I. Л., «Советский писатель», 1972, с. 25. (Библиотека поэта. Большая серия).

[17] Б. Спииоза. Избранные произведения, т. I. М., 1957, с .576.

[18] Ф. М. Достоевский. Об искусстве. М., «Искусство», 1973, с. 366.

[19] Ки[язь] В. Ф. Одоевский. Русские ночи. М., 1913, с. 422.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1] С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. М., изд. АН СССР, 1961, с. 21.

[2] С. С. Аверинцев. На перекрестке литературных традиций. (Византийская литература: истоки и творческие принципы).— «Вопросы литературы», 1973, № 2, с. 151—152.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I СОЧИНЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА

[1] М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., тт. 1—10. М.— Л., изд. АН СССР, 1950—1959.

[2] М. В. Ломоносов Соч. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии А. А. Морозова. М., Гослитиздат, 1957.

[3] М. В. Ломоносов. Избранные произведения. Вступительная статья, составление и примечания А. А. Морозова. М.— Л., «Советский писатель», 1965.

II КНИГИ О М. В. ЛОМОНОСОВЕ

[1] П. П. Пекарский. История императорской Академии Наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, с. 259—903.

[2] Б. Н. Меншуткин. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. Третье издание с дополнениями П. Н. Беркова, С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. М.— Л., изд. АН СССР, 1947.

[3] С. И. Вавилов. Михаил Васильевич Ломоносов. М., изд. АН СССР, 1961.

[4] Б. Г. Кузнецов. Творческий путь Ломоносова. М., изд. АН СССР, 1961.

[5] А. Западов. Отец русской поэзии. О творчестве Ломоносова. М., «Советский писатель», 1961.

[6] А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.— Л., изд. АН СССР, 1962

[7] А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. М., «Молодая гвардия», 1965. (Серия «Жизнь замечательных людей»).

[8] А. А. Морозов. Родина Ломоносова. Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд., 1975.

СОДЕРЖАНИЕ

7 *ОТ АВТОРА*
11 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
91 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
157 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
207 *ЗАКЛЮЧЕНИЕ*
212 *ПРИМЕЧАНИЯ*
215 *ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ*

Евгений Николаевич Лебедев

ОГОНЬ — ЕГО РОДИТЕЛЬ

Редактор **Л. Асанов**
Художник **И. Сайко**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технические редакторы **Е. Румянцева, Л. Анашкина**
Корректоры **Н. Попикова, М. Стрига**

Сдано в набор 10/VI 1976 г. Подписано к печати 15/XI 1976 г. А12804. Формат изд. 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 12,56. Уч.-изд. л. 11,51. Тираж 50 000 экз. Заказ 1297. Цена 74 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

74 коп.



«СОВРЕМЕННИК»